

Павел Горгулов

Павел Горгулов

Павел Горгулов

Павел Горгулов

Павел Горгулов



Коммуникационная
теория безвластия

Коммуникационная
теория безвластия

Коммуникационная
теория безвластия

Коммуникационная
теория безвластия

Павел Горгулов

Коммуникационная
теория безвластия
Москва Гиляя 2005

От издателя

Писать об авторе этой книги – как читатель поймет из дальнейшего – мне довольно сложно, а о самой книге – и сложно, и, скорее всего, бесполезно. Текст, отличающийся значительной раскованностью и прямотой, вполне говорит сам за себя. Гораздо важнее рассказать почти невероятную историю моего знакомства с публикуемой рукописью.

Несколько лет тому назад я сделал небольшую паузу в своих издательских делах и взялся за давно задуманный личный литературный проект. Так появился «Вариант Горгулова» – роман, смонтированный из газетных репортажей семидесятилетней давности. Вот его краткий пересказ.

5 выстрелов из браунинга – и смертельно ранен французский президент Поль Думер. Убийца арестован: это русский эмигрант Павел Горгулов, врач-гинеколог и литератор, печатающийся под псевдонимом Павел Бред. Следствие и журналисты теряются в догадках: кто он? Советский агент или бывший белогвардеец, глава провозглашенной им русской национал-фашистской партии? Дипломированный врач или фельдшер-самоучка? Кто его сообщники? И вообще Горгулов ли это? Поведения он странного, даже таинственного, к профессии врача и к женщинам относится «бессовестно», на многих производил впечатление фанатика или «темной личности». Одни считают его сумасшедшим, другие вполне нормальным. Множество домыслов и подозрений, запутанные следы, провокации, пугающие совпадения. Но доподлинно установлен только факт убийства. Сам обвиняемый дает не вполне вразумительные объяснения, ссылаясь то на политические

ISBN 5-87987-035-9

© П.Т. Горгулов, 2005
© «Гиляя», 2005

причины, то на некий «внутренний голос». В Париже появляются люди, восхваляющие поступок русского. На открытом, торжественно обставленном судебном процессе его без особых колебаний приговаривают к смертной казни. Защита, однако, полагает, что вскрытие черепа казненного докажет его душевную болезнь. Все время заключения преступник спокоен, молится, много пишет, говорит с птицами за окном. Ранним сентябрьским утром при большом стечении народа нож гильотины отсекает ему голову.

Вначале у меня были другие варианты финала, связанные с некоторыми событиями после казни. Но все, что было «после», тогда меня не интересовало. Теперь же стоит привести один отброшенный материал, поскольку он, кажется, имеет отношение к моему дальнейшему рассказу. Это статья из эмигрантской парижской газеты «Последние новости», подписанная инициалами «А.С.»:

«Кладбище казненных

Горгулов погребен на кладбище Иври, на специальном участке, где предают земле тела казненных. Кладбищенский сторож отказывается указать журналисту, где помещается этот участок.

— Нам строжайшим образом запрещено... Походите по кладбищу, кто-нибудь Вам скажет, как найти это место.

Нужную справку дал мне могильщик, возвращавшийся с работы.

— Пойдемте, нам по пути. Это в самом конце кладбища, у стены по левую руку... В газетах пишут, что «участка казненных» вообще не существует. Неправда. Всех их с бульвара Араго везут прямо сюда. Только многих потом вырывают по просьбе родственников. На формальности по выдаче тела уходит несколько дней. Говорят, сейчас там лежит 28 человек. Место не огорожено, многие не знают и ходят по могилам...

— Вы хоронили Горгулова?

— Нет... Приятели. Но они рассказывали... Гроб был заранее привезен — простой, сосновый, для бедных... Труп извлекли из корзины, приладили к плечам голову и уложили. Потом быстро забросали землей, утрамбовали, сровняли место — нужно было все кончить до открытия кладбища для публики. Ведь какие есть любопытные! Могилу мы роем в последний момент, ночью. Ну, конечно, приходится работать при фонарях... Так вот, явились разные персонажи из Иври и из Бисетра с лестницами, взбирались на стену, чтобы посмотреть, как мы работаем... Полиция их разогнала. В день казни тут полицейских всегда много — на всякий случай...

Могильщик остановился.

— Тут нам расставаться. Видите в конце аллеи площадку, посыпанную гравием? Вот под этой площадкой, в углу, он и лежит. А мне сюда, в ворота.

Площадка небольшая — пятнадцать шагов в длину и столько же в ширину. Ходил по ней какой-то старичок в дымчатых очках и тыкал палкой в землю. Дойдя почти до самой стены, остановился и с удовольствием поковырял в одном и том же месте:

— Здесь, месье! Видите — тут земля совсем свежая. И гравия больше, чем в других местах.

Подошли четыре простоволосые женщины, по виду тряпичницы из соседнего Бисетра. И тут я наслушался всяких чудес. Самая старшая задумчиво посмотрела на землю и с расстановкой спросила:

— А Вы думаете, что его действительно казнили?

— Конечно, мадам...

— Я знаю. В газетах писали. Только мне что-то не верится, чтобы он вышел из Санте. Может, они чучело какое выволокли?..

Пауза. Подошли еще два человека в рабочих синих костюмах.

— Ты думаешь, голову тоже похоронили?

— А то как же?

— Не похоронили. Голову ученые себе взяли. Там специально приезжал этот доктор Поль. Им интересно.

Разговор стал общим. Старухи пожалели вдову Горгулова: осталась молодая женщина, да еще ребенка ждет. Потом человек в дымчатых очках высказал предположение:

— Он тут не останется. Его русские заберут.

— А зачем он им? — спросил я.

— На родине похоронят. Через Голландию увезут в Россию...

И все присутствующие одобрительно кивнули головами.

Когда я ушел с кладбища, разговоры у могилы Горгулова продолжались».

Тогда я, конечно, и подумать не мог, что история с Горгуловым будет иметь действительное *продолжение*. Книга была издана и поступила в продажу. А я вернулся к прежним делам (хотя ради развлечения стал сочинять в голове «новые главы» романа — что могло бы в этой истории произойти потом).

История вновь напомнила о себе около года назад. Мой парижский знакомый, подрабатывающий торговлей книгами, сообщил, что на одном из аукционов выставлен какой-то горгуловский манускрипт, якобы написанный в тюрьме. Это было очень любопытно и даже заманчиво — стать обладателем подлинной горгуловской рукописи, возможно, неожиданного, яркого, отчаянного (или совсем глупого) текста. Я попросил своего знакомого разузнать и, если это недорого, купить бумаги. Вскоре он перезвонил — рукопись, увы, продана, причем за немалую сумму: несколько тысяч евро. Покупатель, как это часто бывает, своего имени не раскрыл.

Примерно полгода спустя произошло нечто совсем неожиданное. Я получил по почте увесистую бандероль с бумагами — без обратного адреса, но оклеенную российскими марками (штамп я, к сожалению, не разобрал). В ней содержалась толстая рукопись и конверт с письмом. Текст письма, столь поразивший меня, я пересказывать не буду, а просто приведу целиком:

«Многоуважаемый Сергей Владимирович!

Вы, вероятно, будете очень удивлены и, скорее всего, решите, что это розыгрыш или злонамеренный обман. Поэтому что письмо к Вам подписано именем того самого казака, автора “Тайной жизни скифов” и героя Вашего “романа из газет”. Вы, конечно, сочтете невозможным, чтобы убитый в 1932 году человек спустя много лет собственно-ручно написал письмо. Даже если он каким-то чудом остался жив (как предполагали некоторые дотошные газетчики), решите Вы, то до сегодняшнего дня он бы все равно не дотянул.

Все это было бы верно, если бы не то обстоятельство, что на кладбище в Иври захоронено было только мое тело-вище (и то вскоре по настоянию жены оно было выкопано и тайно перевезено в Россию). Голова же, в преддверии казни невероятным образом приспособившаяся к длительному автономному существованию (об этом интереснейшем моем опыте как-нибудь поведаю отдельно, а пока поверьте на слово), была отрезана попросту ради обещанного и положенного зрелища. Специальные люди сразу вывезли ее в лабораторию, где мой живой и практически не поврежденный мозг подвергся систематическому и многолетнему изучению и испытанию.

В те времена я немало размышлял, а когда представилась такая возможность, начал читать, почти все подряд. Очевидно, под влиянием всего произошедшего мое миро-

ощущение и взгляды переменились настолько серьезно, что я стал закоренелым антигосударственником и анархистом (но не провокатором-бомбистом, а скорее активистом-амилитарием) и через какое-то время сформулировал свою собственную теорию, целую ученую доктрину.

Я уже давно живу вне стен лаборатории, у меня новое имя, другая внешность, свои дела. Вашу книгу я прочел целиком и ее главную идею, кажется, уловил вполне. Правьте меня, если что-то я понял неверно. Вы ведь не совсем про меня писали. Вас занимали другие, скажем прямо, более важные вещи. Мой литературный псевдоним, а также образ непредсказуемого полуидиота, выстроенный газетами, и, наконец, постоянная путаница в фактах – очень соблазнительная почва для оригинального романчика, но и (в самом деле!) очень удобная возможность дотронуться до “материи” неопределенности. Горгулов-Бред Вашего текста – это одушевленная Неопределенность (неясность, невнятность), активно действующая и множащая события. Благодаря примененному методу она прорастает и на метауровне: это отсутствие ясной “авторской позиции”, смысловые и стилевые противоречия, неопределенность отношения действия к “исторической реальности” и, наконец, невнятность самого “жанра” произведения.

<Здесь почему-то оторван кусок листа с текстом. – С.К.> только я пошел глубже и дальше Вас (не обижайтесь!): подверг феномен неопределенности тщательному исследованию – систематизации, классификации и квалификации. В книге, которую я посылаю Вам с этим письмом, речь идет о неопределенности как о доктрине, способной не только противостоять любым социальным командам или авторитарным и иерархическим схемам, но и произвести постепенное преобразование всего человеческого общества. Повторю: у меня, в отличие от Вас, неопределенность слу-

жит предметом исследования, то есть почти бессердечного аналитического взгляда и вполне ученого рассуждения, призванных частично рассеять некий туман неясности. Бред, хотя бы и трезво рассчитанный, в этой книге определенно уступает логике, хотя бы и населенной противоречивыми чувствами. Кроме того – при всей неполноте и незавершенности работы – в ней формулируются практические идеи и цели, касающиеся будущей совместной жизни людей.

Эта книга для меня – по-настоящему первая попытка слитно и внятно изложить свои мысли, которые, конечно же, менялись в течение долгого времени (и уже в процессе работы). Мой труд предназначается прежде всего тем, кто сомневается – не только в правильности организации современных обществ, но и в самих принципах и действующих практиках человеческих взаимоотношений. Он не имеет своей целью, да и не сможет убедить в чем-то тех, кто принимает всё, как есть, или по тем или иным причинам мечтает о более жестких иерархических стандартах в социальной коммуникации. Этим людям его даже не стоит показывать – разве что дать уже вышедшую книгу на рецензию.

Рукопись посылаю Вам в надежде на понимание и для возможного издания. Почтайте, уверен, что Вам будет интересно. Даже если решите, что это не я писал, – не все ли равно? Жду Вашего благосклонного решения, т.е. надеюсь увидеть свой текст напечатанным.

С уважением,
Павел Горгулов
5 мая 2005 г.

P.S. Если решитесь на публикацию, пожалуйста, поставьте на обложке, не колеблясь, мое настоящее имя. Впрочем, другого Вы и не знаете».

Стоит ли подробно описывать, в сколь трудном положении я оказался? Не имея возможности отрицать очевидную мистификацию, я, однако же, был совершенно ослаблен непониманием цели подобного обмана. Кроме того, почувствовал себя как бы вовлеченным в некую интригу и даже, в качестве персонажа, в текст какой-то новой книги о Гоголеве, притом что диалог ведется со мной, реальным мной, и мне же реальному предлагаются издать рукопись. Я начал чувствовать, что раздаиваюсь, схожу с ума, и схватился за рукопись буквально как за скалу, пытаясь удержаться в координатах привычного мира и найти всему объяснение. Сочинение оказалось более чем любопытным, что для меня еще больше запутало ситуацию. Но все сходилось на том, что его надо издать, — сделав этот шаг, думал я тогда, я, возможно, выйду из навязанной мне игры. Превратив рукопись в книгу, в растиражированный знак, я перенесу свою проблему на плечи других. Я убью тайну, сделав знак тайны. Я не понимал тогда, что ничего не остановил.

Сергей Кудрявцев

Глава 1

Все очень просто. Нормальное течение общественной жизни заключается в том, что одни люди являются хозяевами других, — добровольно ли это рабство или принудительно, распространяется ли оно на частную жизнь или на коллективные судьбы, касается ли оно труда, времени, поступков или чувств, помыслов и желаний людей. Я отчетливо понимаю и хочу донести свое понимание до читателей: отношения господства-подчинения, складывавшиеся тысячелетиями, меняли свои источники, символику, форму, фрагменты, но оставались по своей сути теми же, представляя собой незыблемые основы любой цивилизации. Можно, скажем, задумываться о причинах войн, понимать, что они происходят из-за земель, рынков сбыта, дешевых «человеческих ресурсов», но нельзя отрицать, что протекают они уже во многом по своим собственным законам. И пути победы в войне имеют мало отношения к вызвавшим ее причинам. Можно также стремиться предотвратить все войны, ища способы изменения экономических основ жизни человечества. Но кто поручится, что из-за этого люди перестанут помыкать, управлять, командовать другими, навязывать свой порядок, раздражаться от их вида, запаха и убеждений, поучать, попрекать, порицать, поторапливать? А в ответ получать прямой удар в нос? Но хватит о войне.

Если общество столь постоянно в подобной характеристике, то не лучше ли, не принимая ее всем своим разумом, стремиться стереть такое общество с лица Земли? Нет, я хочу изменить общество.

Иерархизм в человеческих отношениях надо рассматривать в той области, в которой он проявляется, — в области человеческой коммуникации. И лекарство от иерархизма — искать там же. Не лекарство, конечно.

Человек, сообщество людей totally вовлечены в сеть взаимоотношений и коммуникаций с другими людьми и обществами. Речь идет не только о повседневном — служебном и бытовом — общении, не только о том, что люди разговаривают и переписываются друг с другом, пожимают друг другу руки, отдают распоряжения, смеются, любят, ругаются, убивают, играют. Любое поведение, любая активность человека — искусство, наука, труд, творчество, продукт деятельности, вообще любой *социальный факт*, произведенный людьми — это вид, вариант высказывания, своеобразная реплика во всеобъемлющей полифонии социальной коммуникации. Даже не имея никакой подобной сознательно поставленной цели, человек (группа людей) всегда сообщает нечто другим и выражает свое отношение к ним — как правило, этим своим действиям располагая себя и размещая других в иерархиях взаимосвязей. А действуя в данном направлении сознательно, он так или иначе настроен на предвосхищение возможных ответов, в том числе и на подтверждение определенного самому себе места. Цепь коммуникаций нескончаема. И не будем прерывать ее.

Складывающиеся в общение взаимные активности отнюдь не всегда носят характер прямого, непосредственного контакта. Чаще мы имеем дело с опосредованным общением, коммуникацией, проходящей через третьих лиц, установления, символы, средства вещания, предметы и проч. Иерархии, построенные на опосредованном общении, размыты, плохо видимы неподготовленным зрением и мутным, «замыленным» рассудком, их калечащее воздействие часто неочевидно, рассуждения на эту тему легко подвергаются общественному осмейанию.

Иерархии имеют много лиц и ликов; многие слова и понятия в любом языке, как выражающие простые желания и действия, так и описывающие общественную реальность, представляют собой краткие знаки более или менее обширных иерархических формул. Не только «президент», «парламент», «армия», «полиция», «контроль», «дисциплина», «команда», «начальник», «тюрьма», «наказание», «пытка», но и «социальная успешность», «красивая вещь», «избирательная технология», «звезда экрана», «ресурстельность», «правило», «модный журнал», «общественное мнение», «кредит», «шоу» или «пиво истинно немецкого качества» с большей или меньшей очевидностью выражают суть общественного устройства как генератора и пленника totallyго принципа доминантности. А сколь широк диапазон и велика вариативность властных и комплементарных им рабских тонов и интонаций!

Я говорю здесь не об издержках, а о системных (системообразующих) признаках общества, не об «ужасах» Тирании, Господства и Власти (как о них любят говорить, с большой буквы, придавая им некие отчужденные от нас самих демонические свойства), но об обычных вещах — повседневном давлении, ущемлении, неравенстве, манипулировании, «влиянии» и т.п. — и порождаемых ими многообразных злых, мучительных, надеяливых, усталых чувствах — обидах, зависти, потере себя и раздвоенности, недомогании, тоске, страхе, чувстве мести, ощущении предопределенности, недостижимых мечтах и вере в бога. Эти чувства — не в природе отдельных людей, причины этих чувств — в природе существующих общественных связей. «Мотивация достижения» или «стандарт потребления», столь свойственные современному обществу явления и понятия — всего-навсего удачно сформированные объекты манипулирования, поддерживающие в людях не-продуктивное напряжение, которое выражается в обвине-

ниях, фальсификации, чувствах превосходства и пиетета, презрения и соперничества, «подсиживании», культе предметов, морализаторстве, предательстве, лести и проч.

Общество иногда характеризуют как сеть властей, располагающуюся в виде пирамиды, элементы которой находятся в сложном взаимодействии поддержек. При этом реальной основой «больших» властей служит множество разных более мелких, в том числе «малых» и «рассеянных», властей, действующих, так сказать, на всем протяжении общества (73). Межличностных доминантных схем, в частности. Все в обществе построено на иерархической парадигме, но болезненные, травмирующие индивида свойства порождаемых ею линий межчеловеческой связи, безусловно, различны по своим масштабам и последствиям. Некоторыми случаями, кажется, вообще можно было бы пренебречь. Но не будучи одинаковыми, иерархии расположены к постоянным мутациям, могут перетекать друг в друга, меняя свои реальные или кажущиеся формы, они вообще, судя по всему, взаимозаменяемы. Сам принцип ползуч, как контрреволюция.

Иерархии

Мы живем в социальной среде, характеризующейся правлением одних над другими и соответствующим этому правлению нисходящим потоком инициатив и сложнейшим соподчинением. Некоторые справедливо полагают, что наше общество остается обществом господства меньшинства над большинством, колеблющимся между открытой диктатурой меньшинства и скрытыми формами его доминирования, замаскированными под «образцовую демократию».

Но очевидно, что при общинных и коммунистических формах социального устройства, представляющих собой, если они остаются таковыми в действительности, правле-

ние большинства, имеет место то же принуждение и подавление отдельной личности. Как отмечал еще Прудон, «во всякой общине труд, который должен бы являться для человека лишь естественным условием существования, становится человеческим велением и в силу этого ненавистным ... строжайше предписывается пассивное повиновение, совершенно несовместимое с мыслящей волей, и неукоснительное подчинение регламентам, которые по самой природе своей не могут быть совершенными ... человек должен отказаться от своего я, от своей воли, от своего гения и привязанностей и смиренно подчиниться интересам величия и неприкословенности общины» (60).

Как и в предшествующие эпохи, наше общество разделено на классы, касты, сословия, занимающие разные положения в административной иерархии, имеющие различные экономические, идеологические, силовые ресурсы и возможности, что формирует отношения подчинения даже безо всяких сугубо командных схем. Низшие слои являются одним из ресурсов высших.

Собственность – это и просто ресурс, которого может быть больше или меньше, а стало быть, при его помощи можно управлять, но она, будучи изначально формой и результатом насилия, обмана, мошенничества, также заключает в себе устойчивую модель мира, справедливого для одних и несправедливого для других.

Существуют возрастные и половые иерархии, а также социальные категории «нормальных» и «ненормальных», лояльных и нелояльных, «социализированных» и «асоциальных», находящиеся в отношениях неравенства и зависимости не только из-за накладываемых одними на других ограничений, в том числе и в доступе к полноте социального статуса, но и по причине навязывания им своих навыков, понятий, порядков. Расовые иерархии, построенные на лимитировании возможностей для выходцев с других террито-

рий или на прямом насилии, периодически модифицируются, как бы обретая новое дыхание. Время от времени мы можем наблюдать вспышки новых видов европейского, американского, русского расизма, активно поддерживаемых или инспирируемых властями и оправдываемых, помимо обычного набора претензий, например, страхами за собственную безопасность и безопасность государства в целом, возможностью экологических катастроф, грядущим интеллектуальным и культурным обнищанием и проч.

Идеи всеобщей безопасности! Они нужны всего лишь для того, чтобы «это стадо» не переставало работать, потреблять, верить в силу и разум хозяев. Лучше, правда, если оно само займется своей охраной.

Конкуренция и диктат – главные особенности локальной и мировой экономики, политики, ведущейся в регионах или на планетарном уровне. Способы достижения поставленной цели – чаще всего давление и шантаж, называемые, правда, «братьской помощью» или «борьбой за демократию». Состоятельные страны живут за счет своих экономических колоний, причем последним предлагаются «реформы», которые якобы позволят им подняться на высшие этажи мировой иерархии (в компании «цивилизованных» государств), а на деле подключают к системам унификации и бесконечной долговой и технологической зависимости. Применяемая повсеместно политика «двойных стандартов» (в равной мере используемая и критикующими такой подход политическими оппонентами) – это реализация циничного принципа «одним можно, а другим нельзя», свойственного не только «фашистской» модели социальной практики, но и любой идеологии.

В отношениях работодателя и работника, начальника и подчиненного в основном принята система нисходящих приказов и восходящих отчетов о своих действиях. Между ними существует субординация, система ступенчатого со-

подчинения с соответствующими каждой ступени режимами функционирования. Есть «служебная лестница», по которой можно передвигаться, чтобы увеличить свой нисходящий ресурс. «В офисе и на фабрике царит дисциплина и иерархия того же рода, что в тюрьме или в монастыре, – пишет Боб Блэк. – Работник – это раб на полставки. Работодатель говорит вам, когда явиться, до какого времени не уходить и что делать в промежутке. Какую работу выполнять и с какой скоростью. При желании он может довести свою власть до оскорбительных пределов – регулируя, если захочется, вашу одежду и количество разрешенных посещений туалета. За редкими исключениями, он может уволить вас по любой причине или вовсе без таковой. Он напускает на вас стукачей и непосредственных начальников, которые за вами следят, и собирает на вас досье. Возражения называются “неподчинением” (как будто работник – это непослушный ребенок), и за них вас могут не только уволить, но и лишить пособия по безработице ... Послушание, намертво вбитое в людей на работе, выплескивается в семьи, которые *они сами* создают, воспроизводя таким образом систему дополнительным путем, а также в политику, культуру и все остальное» (10).

Армия и любая аналогичная ей военизированная структура – крайний пример таких отношений, но также прототип, существенный элемент и отражение любого общества, характеризуемого как «дисциплинарное». Принцип дисциплины в таком обществе может распространяться практически на всех, но реализуется он в иерархии дисциплин, точнее, в пирамиде регламентов. В обществах любых типов для разных слоев населения фактически действуют различные своды правил.

Чиновники, начальники разных уровней, общаясь с обычными гражданами, не только распыляют чужое время, фиксируя на себе и своих функциях излишнее внимание, –

они заставляют становиться «на колени», вымогают деньги и услуги, наслаждаясь недолгим моментом своей власти над просителем. Они даже организуют фактическое пространство своего контакта как подобие пьедестала, зону священности действия или хорошо оборудованный дзот. Это может прибавлять к ним почтения и вызывать чувство причастности к сакральному – чувство, оправдывающее и «обезболивающее» унижение. В министерской или похожей вертикали чиновник склонен косвенно и даже бессознательно демонстрировать собственную значимость, замедляя на своем этапе прохождение тех или иных решений.

Люди часто прибегают к протекционизму как к способу борьбы со слишком сложными, излишне бюрократизированными и регламентированными иерархиями или, наоборот, с простой очередью. Заключая в себе некое отрицание сложившихся отношений, он представляет собой ни что иное, как иерархические пути их преодоления (и обращение «через голову», и оттеснение поступающих по правилам или конвенциям). Протекционистские отношения иногда полностью подменяют действующие правила, становясь альтернативной дисциплиной. Именно протекционизм, как известно из истории США, порой оказывается тем исключительным средством, которое стимулирует желанный экономический рост (77) и, соответственно, укрепление власти меньшинства.

В связи с проблемой низкой эффективности управляемые иерархии в государственных органах и деловых структурах могут подвергаться не только кадровым изменениям, но и другому регулированию и переделкам. Теоретики строительства современной власти с удовольствием отмечают «исчезновение иерархий», имея в виду, однако, вовсе не отмену самого принципа, а лишь появление «новых коммуникационных технологий», связанных с возможным упрощением вертикальных цепочек, рассредо-

точением центра, отказом по мере необходимости от традиционных ступенчатых схем получения информации. И постепенную замену традиционной механической бюрократии на власть символов. Управленческая власть преобразуется в сеть «ключевых отношений» и коалиций, в полотно мозаик и метамозаик, где каждая структура имеет свое временное место, обладая так называемым позиционным капиталом. «Власть изменилась, ушла от старой иерархии, создавая гораздо более подвижную, разнородную систему с постоянно меняющимися центрами власти» (70). Очевидная задача подобных перемен – применение новых, более гибких моделей извлечения прибыли и реализации планов, заданий, приказов, а одновременно создание видимости открытости и деиерархизации. Точно так же современные стратегии захвата все больше используют разнообразные «непрямые» средства и «невоинственные» акции, действуя информационные каналы, экономические рычаги, стандартизирующие технологии – идет война, но никто не говорит о войне.

Власть, особенно когда она носит организованный характер, для обыкновенных людей является собой некое таинство; носители этой власти чаще всего основательно заботятся об утаивании своих подлинных мотивов и сокрытии многих поступков. Информационная закрытость более высоких ступеней иерархии – обязательное правило поддержания самого вертикального принципа. Соответственно, таким порядком предполагается по возможности полная открытость, «просвечиваемость» более низких ступеней. Свою закрытость власть тоже умеет скрывать, точнее, прикрывая – «вспышками откровенности», совместными празднествами, отчетными собраниями, пресс-конференциями и т.п. Иерархическим мероприятиям типа суда, церковной службы или, скажем, парада свойствен ритуализированный характер, а также торжественность, призванная

вызывать ощущение высокой значимости творимого и чувство сопричастности ему на некотором отдалении.

Принцип иерархизма – в природе и церквей, и самих религий, чья роль во влиянии на массовое сознание по-прежнему очень значительна. Породив «мораль отрешенности», религии Востока и Запада выдвинули идеал «безоговорочной любви». Когда же эта любовь предстает в качестве предписания, которое требуется выполнять, она превращается в авторитарный механизм контроля; и человек не только сам подпадает под власть идеала, но и хочет, чтобы ему подчинились другие (35). Как известно, религия, будучи одной из возможных идеологий, всегда представляет собой удобный инструмент государственного манипулирования массами; за ней закреплена и официальная функция «отдушины» от регламентов и предписаний светской жизни, тем самым она являет собой легальный, внутрисистемный способ бегства.

Деятельность средств «массовой информации» – понятно, никакое не информирование, а прежде всего пропаганда, причем активно атакующая. Пропаганда ценностей, образов, критериев, поведенческих норм и эталонов, присущих действующим моделям общественных отношений. Стереотипов счастья. Именно через нее мы узнаем об «общественном мнении», давление которого обязывает нас некритически принимать новые указания сверху. Это мнение может быть и подготовлено, и подтасовано – уже неважно. И может ли в обществе вообще существовать информирование? Разве что только как «осведомление». Важно, что многие люди подчиняются перманентному манипулированию, как правило, ничего похожего не осознавая. Обман и мошенничество, на которых строятся рекламные, PR и избирательные технологии, увы, откровенно опираются на некие расчетные величины невежества населения. Трюки массовых технологий рассчитаны на подчи-

нение индивида авторитету, страху за собственную безопасность, мышление по аналогии и ассоциации, ложную «историческую память», ориентацию на символы спокойствия. Создается видимость равноправной коммуникации, диалога – она-то и призвана убеждать людей, уставших от прямого насилия, в необходимости прислушиваться к «голосу разума».

Общество формирует внутри каждого своеобразные ментальные иерархии, на вершинах которых – суперкачества и небывалые фонтаны успеха. Социальная машина продуцирует гнетущий культ персоналий; нашими устремлениями начинают руководить разнообразные «кумиры», мертвые и живые. Они не начальники, отдающие команды и требующие отчета, но эталоны и судьи, подчиняющие желания. Понятия «престижного», «модного», «приличного», «современного» и т.п. организуют, упорядочивают потоки потребностей, лишая их во многом хаотичной органической основы. Сами желания быть успешным, состоятельным, известным, а также модным, престижным, прогрессивным авторитарны, поскольку ориентируют на гонку и соперничество, на вытеснение и использование других, на *жизнь за счет них и вопреки им*.

Культура и наука – это иерархии символов, кодов и стандартов, а также должностей, степеней и званий. Здесь «высокое» и «серъезное» (и в смысле структур «знаний», и в смысле персональном) так же подавляют «низкое» и «безосновательное» и вообще все неприметное и слабое, как и в остальном мире. Кажется все же, что они – более свободные области общества, по крайней мере, в отношении возможностей действительного творчества. Но истинное порабощение участников в подобных видах деятельности (и ментальное, и физическое) начинается там, где эти сферы начинают служить какой-либо идеологии, превращаются в каналы добычи денег и экспериментальные поля для

бизнеса, в средства усовершенствования политических манипуляций или технологий уничтожения.

Школа и университет, в задачу которых входит формирование целостного мировоззрения, базирующегося на авторитарных моделях мироустройства – сюда входит и соответствующая интерпретация фактов, и ретрансляция определенных этических принципов и поведенческих стереотипов, и закрепление окостеневших норм языка и культуры, – сами, как правило, устроены по авторитарному принципу. «Знания», предназначенные для адаптации индивида в иерархизированной реальности, передаются тем самым нисходящим потоком, а их «усвоение» контролируется плановыми или внезапными, как из засады, проверками, а также при помощи дисциплинарной системы отчетов и наказаний-поощрений (традиционная школа – очевидный прототип конкурсов и фестивалей, где призов удостаиваются «ученики», хорошо усвоившие алгоритмы существующей культуры). Кроме того, «сам процесс социализации, по большому счету, был до настоящего времени авторитарным, основывающимся на идеологии, направленной на утрату личностного доверия к самому себе, ибо это остается самым простым и эффективным средством, дающим возможность контролировать поведение людей» (35).

С помощью государства общество вырабатывает правила и ограничения, осуществляет репрессии за нарушение запретов, вменяет своим членам разнообразные повинности, причем и то, и другое, и третье всегда применяется избирательно. Оно все щадительнее относится к отслеживанию индивидуальных «траекторий» поведения, которые тем эффективнее фиксируются, регистрируются и регулируются, чем лучше технологически оснащено общество. Верно сказано, что проблема техники и технологий – это проблема средств контроля и принуждения. Я бы добавил: проблема науки вообще – тоже. Маркузе в «Одномерном человеке»

писал: «Никогда прежде общество не располагало таким богатством интеллектуальных и материальных ресурсов и, соответственно, не знало господства общества над индивидом в таком объеме. Отличие современного общества в том, что оно усмиряет центробежные силы скорее с помощью техники, чем Террора, опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и повышающейся жизненный уровень» (45). Благодаря новейшим средствам контроль приобретает тотальный размах, охватывая прежде недоступные стороны и фазы индивидуальной и общественной жизни; его формы имеют скрытый, опосредованный, косвенный характер. При этом работая на интересы меньшинства, контроль, построенный на взаимодействии всех уровней иерархии, вовлекает в участие большинство. Доскональный учет «человеческого материала» корреспондирует с масштабным статистическим мышлением правящих структур, основанным на операциях с большими числами и разнообразными классификациями. Подсчет и членение людских ресурсов могут сколь угодно обосновываться «целями развития», но их всегда имеют в виду и на случай поиска резервных путей выживания самих элит или всего человечества. Когда у нас в доме появились мыши, моя жена сказала примерно такую смешную фразу: «Надо сначала наладить их учет, а потом уже придумать способ уничтожения». Еще я вспоминаю историю про бывших белых офицеров, которых победившая в Крыму советская власть призвала пройти поголовную регистрацию – каждого добровольно явившегося заносили в списки, а затем расстреливали.

Труд, формально наемный, фактически не свободен – и потому, что к самой идеи подневольного труда и к функциям исполнителя чужих приказов (и также, отчасти наоборот, к функциям управляющего другими людьми) индивид подготовливается с малых лет разнообразными социальны-

ми институтами, и потому, что для последующего выживания ему практически не дается иного выбора. Он не свободен, разумеется, и в своих новых, отвечающих неолиберальным концепциям «партиципативных» формах труда (предполагающих участие работника в принятии решения), так как они сохраняют ту же зависимость от работодателя, но просто более «мягкую», гибкую и скрытую, и уж никак не избавляют работника от угрозы увольнения или понижения в должности. А так называемые автономные формы неизбежно контролируются постоянной угрозой массовой безработицы и свертывания производства.

Служа обогащению более высоких уровней иерархии, труд представляет собой отдачу времени и сил за вознаграждение, которое, однако, используется не столько на собственные нужды и нужды своей семьи, сколько на обогащение тех же слоев – создающих стереотипные модели потребления, ложные потребности и новые товары для удовлетворения этих потребностей. Критики капитализма давно писали о механизмах искусственного создания потребностей, служащих целям увеличения объема продаж (см., в частности, 43). Как и производство, потребление также во многом становится принудительным, по крайней мере регулируемым, контролируемым и стимулируемым. Создается культ потребления, искусственный голод, разжигается азарт, провоцируется каждодневная зависимость от господствующей нормы.

Человек экономически подчинен множеству механизмов и институтов общества. Связанный массой цепей зависимости, он все время кому-то должен – банку или магазину, где оформил кредит; арендодателю, собственнику жилья, ипотечной конторе; компаниям мобильной связи, кабельному телевидению, интернет-провайдерам; автомобильному сервису, врачам, юристам и еженедельной маникюрше; друзьям и организациям, которые сами должны друг другу и ко-

му-то еще. Он вовлечен в многочисленные «дисконтные» отношения, накрепко привязывающие к тем или иным структурам, которые под видом благодеяния легко избавляют его от остатков полученного за труд вознаграждения. Он должен успевать за подорожаниями, инфляцией, разнообразными финансовыми переменами. Его святая обязанность – платить всевозможные налоги и оплачивать сборы. Он, наконец, должен страховать себя, близких, имущество от пожаров, наводнений и революций. А насаждаемое через массовые коммуникации чувство постоянной угрозы только подталкивает индивида к включению в многообразные механизмы взаимодействия с обществом, его финансовыми, полицейскими, идеологическими институтами, к выстраиванию новых цепей зависимости и контроля. Человек и гражданин вообще все время что-то должен обществу и государству, и он наделен грузом обязанностей и обязательств, давление которых равносильно расписанию, приказу.

Давление общества, его законов и привилегированных сословий создает изгоев, которые, однако, со временем могут обретать статус судей, непрекаемых авторитетов, некой персонифицированной совести.

Производство и потребление во многом унифицированы, стандартизированы; услуги разложены по «пакетам» и «корзинам»; человек, заменяемый элемент обезличенных вертикальных структур, уникален лишь как количество рабочей силы и желания, а также как сумма идентифицирующих цифровых кодов. Он вообще все больше *цифроид*, убежденный в удобстве, силе и правоте численных расчетов и обозначений. Стандартизация – эффективное средство централизации управления при сохранении видимости развитой горизонтали и децентрализации власти. Менее стереотипная услуга обозначается как «индивидуальная» и имеет более высокую стоимость; «экслюзив» не обращается к моей уникальности, он заигрывает с чувством моей ис-

ключительности. Чувство превосходства над другими, даже мимолетное, есть твердая ценность.

Это чувство, открыто проявляемое экранным героем, вызывает к персонажу зависть, возможно, как раз по причине такой открытости. Тайно мечтать превзойти кого-то или поставить другого в зависимость — привычная неутоленная страсть. А уж незаметно «прищучить», поприжать, показав, «кто есть кто» и «кто здесь главный», — совсем обыкновенная бытовая мелочь. Вопросы морали и общественного приличия часто связаны именно со степенью владения искусством помыкать, не вызывая повышенного внимания. Вообще-то повседневное использование другого человека в качестве средства — обычай этого общества, правда, в последнее время все более интимный.

Радость контрреволюции

Можно лишь подивиться тому, с каким рвением и страстью люди, мучительно страдающие от унижений подчинения, готовы соперничать с другими за получение хотя бы крохотчной доли власти. Или тому, как внезапно теплая радость находящихся под опекой господина может смениться холодной тоской при одной мысли этих людей о необходимости возложить на себя хоть какие-нибудь начальственные полномочия. Или тому, как может быть велико удовольствие вождя, усмирившего скучнейший за всю человеческую историю бунт с помощью набора новомодных лесбийских вибраторов.

Меня не интересует та теория социальных преобразований, в основу которой положены категории радости и удовольствия или какие-либо переменные индивидуального/коллективного состояния (типа «высвобождения злых страстей» — см. 11) — ибо тогда всему найдется свое оправдание. В том числе индивидуальной, а тем более коллективной воле, нащупывывающей мишени для «радостного»

мщения. В том числе, разумеется, физическому насилию — самому что ни на есть *сконцентрированному моменту господства*. И почему, если нам говорят, что власть — это насилие, мы не вправе отвечать, что насилие — это власть? И чем тогда сегодняшние рутинные и, конечно же, кровавые иерархии хуже череды беспощадных восстаний, не дающих хоть сколько-нибудь обоснованной надежды, что в «обновленном мире», рожденном ценой множества смертей, все опять не вернется на круги своя?

Ну ладно, скажут, нельзя ничем ограничивать, это авторитарный диктат. Пусть высвобождение и радость, своеование и оргазм. Умные, правда, понимают, что не надо совсем уж так примитивно, и говорят, по крайней мере, о взаимности.

Я вряд ли полностью соглашусь с мнением, распространенным в среде противников насилия, что тактика устрашения и вооруженные нападения на представителей государственных органов только укрепляют государство, в смысле помогают ему (см., например, 50). Да, эти действия и в самом деле обычно активизируют ответные репрессивные меры, причем, как правило, по принципу массированного возмездия — и жесточайшим образом карающего участников, и подрывающего функционирование наложенной подпольной сети, и затрагивающего непричастных. Более того, государство само прибегает к подобным действиям, когда требуется обосновать принятие тех или иных жестких административных мер. Акты протестного насилия, подлинные или инспирированные специальными службами, могут умело использоваться для того, чтобы посеять страх и укрепить сплоченность граждан и доверие к власти. В конечном счете, они совершенствуют системы выявления, контроля и предупреждения любой сопротивленческой активности, делая саму систему значительно более подвижной, более мощной идеологически, более привлекательной.

Но по абсолютно верному, правда, нередко излишне прямолинейно толкуемому правилу «насилие вызывает насилие», репрессивное насилие государства неизбежно вызовет тлеющую ярость страдающих, интеллектуальное замешательство лояльных, разнообразные страхи исполнителей – и всё со временем отзовется. Изменяясь, государство укрепляет себя, чем, однако, не ослабляет, а, наоборот, совершенствует противодействие тех, кто учится видеть сокрытое за новым «фасадом». Да и не у всех случаи вооруженного сопротивления вызывают боязнь, многие понимают действительный героизм этих людей и когда-нибудь сами возьмут в руки оружие.

Вовсе не потому я отвергаю революционное насилие, что оно «может быть выгодно государству». Я отрицаю его даже не просто как средство угрозы, как вариант мести, способ мщения, чем оно чаще всего и является, а как провозглашенный *принцип переустройства* общества и также как частную или локальную технику для осуществления этих целей. И думаю так исключительно из-за того, что не вижу никакой его связи с процессами созидания иного общества и иного человека. Я убежден в том, что разрушение «старого» общества и созидание «нового» – во многих смыслах единый процесс преобразования, который не может и не должен быть разделен на два последовательных и самостоятельных этапа. Туда же, на свалку, и всякое «очистительное» варварство с его «позитивным» насилием!

Я уж совсем не говорю о тех, кто готовится к революции для захвата власти и создания «более справедливого» общества и государства. И о тех, кто пытается построить безвластное общество с помощью партии или армии. Этим я тоже не верю. И могу объяснить почему: будучи сброшена, власть-таки будет взята, а некие централизованные формирования, пусть даже возникающие стихийно, будут

вынуждены охранять новую форму (бес)порядка от тех, кто – если не они сами или кроме них – захочет ее всячески использовать. Конечно же, как всегда, «временно». Но почему же те, кто согласен со мной в этом, уверяют нас, что смогут покончить с оружием раз и навсегда сразу же после победы над Капиталом? Какая глупость! И вообще: как путем насилия можно решить проблему окружающих нас повсюду «малых», «рассеянных» властей? Тем более что сами акты насилия и есть такая мелкая власть?

К тому же, полагают, наверное, что прямое давление, каковым является революционное насилие, честнее, благороднее, чем косвенное, «подленькое», виртуозное манипулирование власти? А революционное манипулирование vs прямой диктат?

Единственное, что достойно серьезного обсуждения в связи с проблемой применения насилия, – это использование в качестве защиты от *неизбежной* опасности (вопросы о пределах необходимой обороны, допустимости превентивной защиты и т.п.). Обсуждения в том смысле, что, с одной стороны, невозможно не защищаться от покушения на свою жизнь и что, с другой стороны, «цели самозащиты» – распространенная причина и обычное оправдание для нападения и установления диктатуры.

Отвращение к разнообразным формам существующей власти и персональная ненависть к обнаглевшим и тупорылым царькам (накатывающая на многих из нас при каждой с ними встрече) не должны заслонять собой понимания и предвидения неустранимости иерархических отношений после любых смертоносных революционных рейдов. Или, тем более, вероятности усиления, ужесточения господства, реинкарнации полномасштабного государственного диктата – какие бы меры против этого (они же, как чаще всего бывает, – и во утверждение этого) не предпринимались.

Мой тезис состоит в том, что предметом внимания теории, претендующей на изменение общества, должны стать не те или иные «враждебные» люди, сообщества, структуры или постоянно меняющиеся формы и источники неравенства, а сами по себе отношения между социальными субъектами. Иерархические отношения с их тоновым многообразием, на каких бы материальных или духовных основаниях в данный момент времени они ни базировались и где и как бы они ни проявлялись. Необходимая и достаточная цель – их повсеместный развал, а с ним и изменение человека. В конечном счете, аннигиляция самого иерархического принципа и постепенное коренное переустройство основ цивилизации. Творчество и любовь – для простоты. Безумие – для ясности.

Взаимность

Отношения господина и раба характеризуются их всеобщей бескомпромиссной разъединенностью в любой деятельности; здесь уместна констатация, подсказанная сложными для меня рассуждениями Гегеля: каждый из этой пары делает для другого не то, что делает для себя самого. Но принципиальная конструктивная особенность (особенность конструкции) отношений господства-подчинения состоит в их взаимодополняющем характере. Проще говоря, обе взаимодействующие функции неразрывно связаны между собой своими сущностями – как нет раба без господина, так и нет господина без раба; понятие и функция господства определяемы относительно понятия и функций рабства и наоборот. Данное несложное рассуждение – совсем не отвлеченное, умозрительное построение: в социальной жизни реализуется действительная обоюдная зависимость, в том числе, разумеется, и хозяина от своих вассалов, начальника от подчиненных. Оно касается и правящего меньшинства, что бы там ни говорили о его стрем-

лении полностью отгородиться, говорить на своем языке и т.п. Речь, скорее всего, может идти лишь о его физических попытках существовать неким отдельным «миром», но сам «мир» меньшинства так или иначе будет находиться в зависимости от работающего на него и приносящего ему доходы «мира» большинства, даже при хорошо отработанных технологиях его отчуждения от «низов». «Утирана для надзора за людьми есть только их же глаза и уши, а для их угнетения – только их же руки, которые они отдают ему на службу» (28). Другое дело, что рассматриваемые зависимости разного рода и качества: зависимость раба – роль средства, инструмента в действии, осуществляемом господином; зависимость господина – определяемость результата действия работой инструмента.

По мнению М. Вебера, «понятие отношения господства не исключает того, что это господство возникло путем формально свободного договора: таково господство работодателя над рабочими, проявляющееся в трудовых распорядках, сюзерена над добровольно подчинившимися ленным отношениям вассалами. То обстоятельство, что повинование с помощью военной дисциплины формально “не добровольно”, а с помощью фабричной дисциплины формально “добровольно”, ничего не меняет в том факте, что и фабричная дисциплина есть подчинение господству» (15). Категория добровольности, однако, может быть рассмотрена не только под данным вполне понятным углом зрения, то есть как некая иерархическая фикция, а совсем в ином ключе, если иметь в виду, что у людей всегда остается та же возможность полного непослушания. В этом смысле подчинение и послушание представляют собой добровольный выбор. «Рабство бывает только добровольным, – утверждает Р. Каиуа. – Какого бы рода ни была власть – светской, военной или религиозной, – она существует лишь как следствие согласия с нею. Дисциплина в армии

образуется не могуществом генералов, а послушанием солдат. На каждой иерархической ступени встает одна и та же проблема: как маршал, так и капрал бессильны, если их подчиненные, более многочисленные и лучше вооруженные, откажутся исполнять их приказы» (28). Кайуа в целом прав, и прежде всего он прав, когда имеет в виду коллективную добровольность, подразумевающую возможность *коллективного отказа*: если все или хотя бы многие сразу одновременно перестанут подчиняться власти, то власть неизбежно рухнет или, по крайней мере, окажется бессильной в использовании прежних способов принуждения. Групповой или массовый отказ от подчинения потому и означает возможность разрушения прежних иерархических отношений, что, будучи, как мы говорили, зависимым от раба, господин лишается выбора. Именно на данном механизме построены многие сопротивленческие и революционные практики. Скорее отсюда, нежели из представлений о большинстве, обладающем большей силой (в том числе вооружениями), чем меньшинство, должна проистекать идея коллективности (неизбывательно организованности) революционных действий. Однако другая проблема состоит в небольшом, по сути, отличии таких революционных стратегий от стратегий власти – и там, и здесь мы фактически имеем дело с давлением, шантажом, поведением «хозяина положения». Хотя, конечно, «справедливость» шантажа правящего меньшинства со стороны бесправного большинства обычно вроде бы вызывает меньше сомнений. А бесправного меньшинства со стороны правящего большинства?

Индивидуальное же подчинение менее «добровольно», если иметь в виду цепи, которыми связан каждый индивидуально (включая давление на него послушания других – практически каждый постоянно живет с ощущением нажима со стороны большинства), и то, что в одиночку он пра-

ктически беспомощен. Сугубо индивидуальный отказ скорее решает проблему личного самоопределения, чем задачу разрушения иерархии, за исключением того – и это немаловажное исключение, – что он может служить примером стойкости для других и «проводником» в массовый отказ, а также вызывающим образом непокорности для власти.

На добровольность подчинения надо бы взглянуть и с другой стороны – с точки зрения удовольствия нахождения под властью, «любви» к подчинению, по поводу которой порой высказываются беглые соображения. Эти чувства определенно распространены и связаны они, без сомнений, с индивидуальной или субкультурной спецификой, восходящей к тем же общественным механизмам подавления личного. И, говоря упрощенно, здесь мы можем иметь дело с чем-то, похожим на удовольствие от осуществления власти, «генетически» ему родственным (хотя я не хотел бы прямых параллелей с садизмом и мазохизмом). Если иметь в виду крайние формы подобной взаимосвязи, то нельзя исключать из рассмотрения и полностью дополняющие друг друга чувства удовольствия и господина, и раба. Тогда, конечно, рассуждение, заимствованное мною из гегелевских текстов, может оказаться не совсем верным – хотя нет, разве получающий удовольствие от власти господин желает того же удовольствия рабу, общего с ним удовольствия? Отношения власти в мире становятся все более косвенными, и я думаю, что этот процесс постепенно элиминирует удовольствие подчинения, по крайней мере, в его прямом, часто персонифицированном варианте. Но власть действительно, как считает Фуко, не стоит рассматривать только в терминах подавления, она по-своему притягательна (73) – привлекательность власти, даримые ею подарки, предоставляемые ею знания и защита «прилепляют» субъекта к власти. Кроме того, а скорее, прежде всего, люди, по верному замечанию Блэка, «приучены к иерархии и психологически

поработчены. Способность к независимому существованию атрофирована у них настолько, что страх свободы – одна из немногих фобий, имеющих под собой реальную почву» (10). Проблема любви и привычки к власти – исключительно вопрос просвещения (не только, конечно, книжного, но и практически ориентированного), если говорить о чем-то, что должно быть противопоставлено этим архаичным чувствам.

Но вернемся к тому, что начальники, пастыри и продавцы все же нуждаются в подчиненных, пастве и покупателях как инструментах своей деятельности. И если в дисциплинарной ситуации власть больше опирается на прямую силу, угрозы, принуждение, ритуал, то в скрытом, косвенном варианте (что, скорее, характерно для социальных организмов с более развитой технологией и усовершенствованной этической практикой, и это общее будущее) она осуществляется с помощью множества специальных механизмов и процедур, рассчитанных на участие и содействие индивидов и групп. Помимо трудовой деятельности, имеющей, как я уже отмечал, условно-добровольный характер, человек, как и любая «социальная единица», вовлечен во множество демократических, по видимости, отношений, он обязательный элемент многих не имеющих прямой связи с принуждением и администрированием, но от этого не менее иерархических по своей природе и целям процессов – его в них задействуют, на него в них рассчитывают. Без него они несостоятельны. Это все что угодно – участие в политических партиях и вообще политическая деятельность, включая голосование и вовлеченность в постоянное обсуждение политических взглядов в бытовом общении; гражданский и уголовный процесс, где он – свидетель, присяжный, зритель, доносчик; всевозможные опросы, «интерактивные» проскты и программы, формирующие «общественное мнение», используемое как

инструмент давления или бизнеса; вклады в банках, покупка акций, открытие кредитов, участие в лотереях, покупка рекламируемых товаров, страхование жизни и имущества; потребление политической и бизнес-пропаганды средств массовой информации, интернета; участие в разнообразных шоу и благотворительных мероприятиях, коллективных и «клубных» акциях, конкурсах, фестивалях – корыстно сужаемых ему развлечениях; принятие выгодных предложений по найму; получение регалий и премий; творческая работа в рамках или под эгидой институтов, учреждений, творческих союзов, участие в литературном, научном, образовательном процессе (в критике, присуждении степеней и званий, конференциях и круглых столах, продвижении произведений и кадров и т.п.) и т.п.

Властям любых уровней именно для разработки новых технологий вовлечения в контакт, а также новых норм и стандартов, всегда нужны (полит)технологи, художники, интеллектуалы, журналисты, актеры – разнообразные проводники знаний, образов, алгоритмов и поводыри для подслеповатых граждан с нижестоящих ступеней. Технологии нуждаются в том, чтобы их проглатывали! В современном «развитом» обществе власть одних людей над другими все чаще основана на своеобразном «добровольно-принудительном» участии и соучастии в ее бесчисленных проектах – система властей устроена так, что включение в иерархию и содействие ей несут ореол привлекательности, материальных и моральных преимуществ. Это не совсем то «участие» и «партнерство», о котором любят говорить идеологи буржуазного строя, чтобы убедить нас в отсутствии противоречий между трудом и капиталом, хозяевами и работниками, но определенная связь между ними есть. Иерархические механизмы постоянно переналаживаются терминологически и содержательно. Властные структуры многое делают для того, чтобы привлечь внимание лю-

дей – они, по существу, все настраиваются по принципу интерактивных проектов, где обычным людям отводится роль зрителей, активных сотрудников и одновременно жертв. Они *навязывают им свое общение*, как это делает торговый агент, коммивояжер, с которым не надо встречаться глазами или жать ему руку, потому что ты неизбежно попадешь в зону обволакивающего тебя, засасывающего, как в водоворот, прагматического контакта. От такого общения можно и нужно отказываться, но еще лучше его вовсе игнорировать – без истерики и с полным самооблажданием.

Глава 2

Отрицание

К вариантам отказа, то есть сопротивления, отрицания власти, я отнесу разнообразные боевые практики, нарушение функционирования механизмов власти и политику шантажа; демонстрирование несогласия, ложь и критику; стратегии терпения, неучастия и пассивного протеста; обособления и автономной жизнедеятельности; снижения, обнажения и переворачивания иерархий. Прикладная эффективность этих оборонительных, порой контратакующих, нередко локальных видов активности бывает весьма ощутима, но в них обычно с трудом различимы реальные пути преобразования общества – и из-за частичности, сектантской фрагментарности, непоследовательности многих из них, и, главное, из-за ихprotoавторитарных или иерархических свойств, их болтаниях *внутри иерархического поля*. Я уже не говорю о том, что практически каждый организованный протестный проект выдвигает альтернативную власть в виде комитетов, центров координации и проч., обладающую и законодательными, и исполнительными, и даже судебными функциями. А иногда такая деятельность скорее напоминает некий магический ритуал по отгону опасности, чем реальное противодействие.

Вероятно, идея неприемлемости любых иерархических средств для построения общества равенства прозвучит здесь уже не в первый раз, но для меня важно подчеркнуть, что *средства не могут оправдывать цель*, какой бы благородной, достойной и убедительной эта цель ни была. Я опираюсь вовсе не на моральные соображения, а на понимание и зна-

ние того, что всякое средство имеет постоянное свойство превращаться в цель, подменять ее собой, отодвигая или упраздняю достижение первоначальных, общих задач. Этот механизм, известный как «сдвиг мотива на цель» (целью в данной системе понятий называется, напротив, промежуточная задача, а мотивом — общая, соответствующая смыслу деятельности), объясняет возникновение новых видов деятельности, разворачивающихся из структурных элементов старой (подробнее см. 40). Именно в результате его действия незаметно возникают новые режимы, происходят со временем «странные» перемены в людях, обнаруживаются неясные метаморфозы в общественных движениях.

Отчасти и поэтому же, кстати, проблему иерархий невозможно окончательно решить никаким реформированием, никаким их низведением до «ничтожного» уровня путем применения ограничивающих иерархии законов, поскольку такие законы сами становятся властью, во имя которой осуществляется новое принуждение. Помимо того, что принуждение при современной демократии власти склонны называть чем угодно, но только не принуждением, нынешняя «прогрессивная» форма правления является собой силу, которая ради провозглашенного ею принципа всеобщих прав готова лишить элементарной свободы любого.

Под боевыми практиками я имею в виду прежде всего применение вооруженного и невооруженного насилия — всевозможные радикальные формы бытовых конфликтов, действия, направленные на уничтожение или захват представителей администрации, а также все то, что принято называть бунтом, мятежом, восстанием, партизанскими действиями, военным сепаратизмом, или что имеет отношение к тактикам устрашения власти (захват заложников, акции массовой расправы и проч.). Но это также захват и разрушение объектов власти, собственности и каналов связи. Обыкновенно явля-

ясь элементом тактики и условием эффективности восстаний и революций, такая активность — в качестве фрагментарных или систематических гражданских атак — часто используется в повседневной сопротивленческой деятельности как попытка точечно и методично «выбивать» из функционирования те или иные элементы властных систем. Нападениям могут подвергаться производственные, административные, финансовые и информационные ресурсы, соответствующие технологии. Это, скажем, не только уничтожение объектов частной собственности и порча оборудования, но и компьютерные вирусы, нарушающие функционирование банковских, оборонных или других систем, или просто опустошение кассы. Если рассуждать отвлеченно, кажется, что разрушение технологий, в особенности отвечающих за информационный, законотворческий, рекламный или зрелищный сервис, имеет неплохие возможности и перспективы. Или вообще иногда кажется — взять да и отключить все электричество! Но нет, тогда всем серьезно не поздоровится. Так устроено.

Функционирование властных механизмов разрушается и таким методом, как «раздача», при которой, вопреки принятой системе распределения товаров и услуг, производимое раздается свободно, услуги отпускаются по заниженным расценкам или бесплатно. В подобных акциях порой видят предвосхищение свободного социального порядка (50), однако стоит иметь в виду, что их действительный смысл, помимо обязательного удовольствия от альтруистического поведения, все же в давлении на администрацию и уловлетворении своих требований.

Власть могут подвергать давлению и множеством других, в том числе пограничных с указанным, способов. Нерадивое исполнение или неисполнение обязанностей, возложенных на работника, участника коллектива, члена семьи и т.п., способно играть роль средства для изменения своего положения. Такой тип шантажа уместен либо при

особой ценности, незаменимости протестующих, либо при массовости подобных действий. И то, и другое лишает хозяев выбора хотя бы на какое-то время. Нет смысла специально углубляться в детали, но, скажем, при очень масштабной забастовке, к примеру общенациональной, есть всегда больше уверенности, что административные органы пойдут на уступки, ощущая угрозу серьезных финансовых потерь. В других, локальных или частичных выступлениях при таких же требованиях более вероятно неподчинение давлению и ответное применение жестких мер (увольнения, аресты и т.п.). Голодовки или попытки публичного самосожжения апеллируют и к уникальности индивида, и к абстрактным гуманитарным ценностям, и к общественному мнению, на воздействие которого они тоже рассчитаны. Похожий на них демонстративный суицид, применяемый в семье или в любовных отношениях, используется и как средство против межличностной власти, и как средство ее утверждения, что особенно ярко показывает однозначно иерархическую суть таких тактик сопротивления.

Еще один (возможно, самый распространенный в мире) способ отрицания власти – это отрицательное суждение, или высказывание несогласия. Разница между простым «я против», сказанным начальнику по службе, и людьми, вышедшими на улицу из-за принятия какого-то нового ограничительного закона, в каком-то смысле невелика. Однако надо учитывать то обстоятельство, что последние обычно стремятся использовать определенный путь давления, апеллируя к общественному мнению, используя для этого средства массовой информации, и т.п. Фактически так же действует механизм отрицания через публичное символическое насилие (сжигание чучела или забрасывание гнилыми помидорами). Еще применяется уничтожение символа, знака или нарочитое использование других – альтернативных, раздражающих, провоцирующих.

Сопротивленческие техники так же взаимозаменяемы, как и сами иерархии. Несогласие с мнением или позицией имеет возможность перерастать в боевую активность, если, к примеру, оппозиционное мнение подвергается гонению или демонстрация встречает заслоны на своем пути. Или, если это мнение благосклонно выслушано – в частичный отказ от требований, в пересмотр позиций, в компромисс. Логика отрицания следует за логикой утверждения, а та учитывает «обратную связь».

Более развернутое «нет» – критический разбор. Критика, если она носит вполне аргументированный характер, обычно имеет своей целью не свергнуть, не отринуть, но переубедить. Критика как отражение непрятливых сторон объекта обнаруживает в себе, прежде всего, корректирующие задачи. Можно сравнить ее с одним из методов психотерапевтической коррекции, при котором человеку неожиданно показывают его самого, снятого видеокамерой – говорящего и двигающегося. С одной стороны, критика – это, как правило, попытки усовершенствовать, смягчить иерархию, к чему та и приходит, приняв замечания оппозиции; с другой стороны, даже частичная или эпизодическая критика может быть воспринята как посягательство на некие основополагающие принципы, как угроза существованию иерархии и подвергнута репрессии.

Радикальная критика (я говорю, разумеется, не только о жанре «критики»), действительно пытающаяся раскрыть максимум правды о любой власти, препарировать ее тело и разобрать до мелочей механизмы ее функционирования, – это, по сути дела, уже глубинный анализ, не отрицание, а проникновение. Это реальный и необходимый путь к принципиальному преобразованию общества. Наверное, близкий путь – радикальная сатира (я имею в виду, конечно, не только «сатирические» произведения), предъявляющая обнаженный организм иерархического явления не посредст-

вом логического рассуждения, а через инструменты озарения и художественного сопоставления.

Culture jamming («глушение культуры»), современные художественно-политические акции, направленные на обнаружение подлинных (иерархических) смыслов культурных символов (прежде всего рекламных плакатов), скрытых под наслоениями эвфемизмов, близки к пародированию, так как, вмешиваясь в пространство своего предмета, они несколько изменяют предъявляемый потребителю смысл, обостряя, утрируя его и тем самым достигая комического и обнажающего эффекта. Немаловажно, что исполнителей акций со всей очевидностью радуют и финансовые ущербы, наносимые рекламирующим свои товары корпорациям. Фактическим прототипом этой техники служит detournement, изобретенный французскими ситуационистами метод уничтожения первоначальных смыслов в элементах среды обитания, служащих власти, и наделения их новыми смыслами. Смыслообразующая часть этой техники, на мой взгляд, отбрасывает ее назад, поскольку возвращает нас как раз к тому, чем специфичны любые иерархические стратегии. Гораздо важнее и увлекательнее последовательное обессмысливание символов, элементов среды, социальных ситуаций. Но об этом мы будем говорить несколько позже.

Считается, что высмеивание порой сильнее бьет по власти, чем строгий анализ и критика ее действий. Возможно, это так, и подобный эффект получается из-за способности смеха, пародии оказывать внезапное «снижающее» действие, мгновенно перемещать находящегося наверху иерархической лестницы в самый ее низ, на короткие секунды пробивая толщу поддерживающих иерархию смыслов. Смех противопоставлен серьезному тону, мнимой разумности любой иерархической – систематизирующей, классифицирующей и квалифицирующей – культуры, любой стабильной, упорядоченной и упорядочивающей смысловой системы.

В давних представлениях внеофициальные, то есть, попросту, народные формы смеха связывались с бесовством, с преисподней, и, выступая в качестве силы, оппозиционной церкви, они могли подлежать запрету (53). Очень важно отметить, что «народной смеховой культуре» часто свойственно саморазоблачение, снижение образа самого смеющегося, что вообще является необязательным атрибутом юмора, способного вмиг возвысить адресанта над адресатом.

«Низовые» культуры, языки, жанры искусства во все времена были подчинены «высоким» – церковному и аристократическому красноречию, официальному и салонному искусству, культуре привилегированных сословий. Введение просторечия, «языка улицы» в язык литературы, искусство «диких», «мусорное» и «примитивное» искусство, граффити, доморощенная философия и, в какой-то мере, самиздат – все это обратные предыдущим («снижающим») «возвышающие» технологии протesta. Часть из них может приобретать особый субкультурный статус, быть предметом недолгой моды или специфического культа. Многие из них почти мгновенно создают свою эстетику, и отдельные виды таких технологий, будучи присвоены сначала элитарной, а потом массовой культурой и отношениями коммерции, становятся диктующими новые критерии образцами «высокого».

Праздник и карнавал, представляющие собой легитимные способы разрядки, «высвобождения злых страстей», в своих классических формах характеризуются антииерархическим переворачиванием, инверсией всех социальных отношений и ролей. Это, как отмечает Кайуа, «праздничный антракт, время вселенского смешения ... когда мировой порядок отменяется. Оттого в это время позволяются любые эксцессы. Следует вести себя вопреки всяким правилам. Все должно делаться навыворот». Греческие кронии, римские сатурналии или вавилонские сакейские празднества включали в себя обращение социального строя. «Рабы тра-

пезничают за господским столом, отдают господам приказания, насмехаются над ними, а те им прислуживают, повинуются, терпят от них дерзости и выговоры. В каждом доме образуется как бы государство в миниатюре: высокие должности преторов и консулов отдаются рабам, и те отправляют свою недолговечную пародийную власть» (28). Очевидно, что рассматриваемый вариант общественного протеста означает временное выстраивание альтернативных, противоположных иерархий, служа своего рода *символическим сопротивлением* в рамках общего иерархического принципа. Интересно сопоставить тип карнавальной инверсии с применявшимися у славянских народов техниками символического сопротивления «нечистой силе», которые заключались в выворачивании наизнанку одежды, переворачивании предметов, движении задом наперед, переворачивании слов и фраз (38). Интересно, но до конца не понятно.

Теперь посмотрим на классические в сегодняшнем понимании доктрины ненасилия (Толстой, Ганди), не углубляясь в их религиозные основы. В них – при всех их отличиях друг от друга – можно увидеть ряд существенных для любых стратегий преобразования общества соображений: идеи несовершенства личности и необходимости ее внутреннего преображения; понимание принципа «насилие порождает насилие» как универсального закона социальной жизни; мысль о временности блага и вечности зла, приносимых насилием; формулирование важнейшего морального постулата «ты должен ненавидеть грех, но не грешника». На практике как формы сопротивления институтам власти последователями этих учений в числе прочих применялись методы *безынициативного послушания*, что интересно и, думаю, перспективно в качестве социальной техники, поскольку власть, особенно современная, обычно рассчитывает не только на исполнение команд, но и на проявляемую

подчиненными энергию и хватку, на их идеи и изобретения.

Но в этих доктринах отражены и идеи жертвенности и самопожертвования, пассивного терпения, не-защиты от насилия, которые разделяет с проповедью всеобщего конформизма только лишь высказываемое тут же отрицание насилия любой власти и которые сами по себе являются культообразующими. Ряд рассуждений Ганди построен на фактическом подтверждении иерархического принципа и на структурировании возможных действий как оппозиционных в пределах его пространства, что всегда чревато прямым иерархизмом. Я имею в виду и его соображения о преимуществах компромисса над столкновением, характеризующие тактику движения во многом как дипломатию, и понимание ненасилия в качестве наиболее эффективного средства сопротивления, в чем явно просматриваются логика и критерии военной стратегии, и, наконец, его уверенность в категориях успеха и моральной победы, а также обязательный расчет на привлечение общественного внимания к проблеме, а следовательно, на использование механизмов давления.

В практике мировых протестных движений широко известны различные пацифистские коллективные и индивидуальные стратегии, связанные, прежде всего, с отказом от участия в военных действиях, от призыва на военную службу, с борьбой за разоружение. Им во многом родственны антивыборные стратегии или активности, связанные как с пропагандой «протестных» форм голосования в период различных избирательных кампаний или с призывами к бойкоту выборов, так и со стихийными неявками, порчей бюллетеней, голосованием «против всех кандидатов». И то, и другое – применение принципа несотрудничества с властью, неучастия в ее мероприятиях, носящее, однако, вполне ограниченный характер.

Как известно, определенной формой обособления от общества является использование отличного от действующего и принятого, собственного языка (например жаргона). Его «ненормативность, закрытость и относительная внутренняя стабильность в сочетании с общей динамичностью – следствие борьбы отдельных слоев общества за выживание, за сохранение корпоративной целостности, противопоставленной напору цивилизации, гнету властей, давлению официальных стандартов, либо просто средство манифестации истинной или мнимой обособленности» (76). В любом случае, здесь мы имеем дело с альтернативной субкультурой, как и всякая культура, структурированной по иерархическому принципу и существующей в качестве стабильной знаковой системы.

Более развернутые формы неучастия охватывают широкий спектр институтов и отношений власти, характеризующаяся либо полным уходом от общественной («мирской») жизни в скитания и отшельничество, либо попытками устройства автономных форм существования и жизнедеятельности внутри общества: отказом от собственности, официальной работы и найма жилья, от пользования банками и деньгами, от обращений в государственные органы и проч., а также альтернативными видами творчества, занятиями и развлечениями. Автономизм в определенном смысле напоминает монашество, конечно, если абстрагироваться от таких существенных атрибутов последнего, как служение религиозному культу и включенность в обширную систему почти независимой от государства власти. Но у автономизма и в целом анархического проекта есть своя субкультура и способы презентации в общественном сознании. Для этой субкультуры характерны культуры бедности и почитания мертвых героев, сложившийся «образ врага», идеальный жargon, сакрализация любой альтернативности, нарочитый антагонизм и утрированный коммуникативный туризм,

проявляющийся в форме отказа от общения с людьми, имевшими (даже случайный) контакт с «врагом». Впрочем, последнее вообще свойственно интеллигентской субкультуре с ее латентной, но часто запоздалой и нарциссической оппозиционностью.

Демонстративный антагонизм проявляется и в своеобразном сексистском антисексизме, и в осуждении, например, любого непсевдоэгалитарного коммуникативного поведения. Здесь можно встретить и совсем комичные явления – антиагархическое по происхождению вегетарианство или отрицание заглавных букв при письме – того же свойства. Для сравнения приведем описание некоторых практик джайновых аскетов, придерживающихся бытующей со времен Древней Индии доктрины ненасилия – ахимсы: «... чтобы даже случайно не умертвить какую-либо мошку, джайны носят полотняную повязку на лице; чтобы не наступить на дождевого червя или жука, метут дорогу перед собой специальной метлой. Они не возделывают землю, дабы не повредить случайно плугом кого-либо, живущего в почве ... Нечего и говорить, что джайны соблюдают строгую вегетарианскую диету» (63).

В этом месте я вспомнил про довольно мерзкого человечка, плоть от плоти окологороднической интеллигенции, вымогателя чужого наследства и любителя таскаться по судам, который нередко хвастался, что очень не любил советскую власть и свой личный протест видел в том, чтобы ни разу не употребить в своих писаниях слово «советский».

У тех, кто связывает феномен власти исключительно с институтами государства или иными официальными установлениями, с традиционной культурой, явно отсутствует понимание того, что *репрессивность заложена и в отрицании, и, особенно, в субкультуре отрицания*. Развитие этой, как и любой другой, субкультуры приводит к закреплению и абстрагированию значений, к их своеобразной иерархиза-

ции, в конце концов, к власти значений над предметами и людьми. Диктат знака, значения как раз и есть вполне совершенный способ современного контроля и управления.

Хочу напомнить о многообразных формах стихийного пассивного сопротивления, выраженного в простой лени, неуплате налогов, молчании во время допроса, неявке на коллективные и государственные мероприятия, а также характерном для детей защитном механизме против своеволия взрослых – отстранении от общения с близкими, отказе от пищи, от игр, *немотивированном* отказе от выполнения требуемых действий. Более активная оппозиция может проявляться в постоянной лжи и дезинформации. Для ребенка, к примеру, систематическая лживость служит защитным механизмом против норм и требований взрослых, выражая некий стихийный протест против навязываемых ему (ложных для него) значений. Ложь как техника сопротивления обладает такими очевидными преимуществами: относительной непредсказуемостью, непосредственной направленностью на смыслообразующие техники власти и нерепрезентированностью в качестве лжи – в отличие от многих прочих методов, открыто манифестирующих себя в качестве себя самих. Хотя надо понимать, что дезинформация – в то же время и обычна тaktika военных и шпионских рефлексивных игр.

Назвав неповинование господству, уклонение от сотрудничества с властью «великим отказом» (45), Маркузе по сути сформулировал некую общую сопротивленческую парадигму, постулирующую необходимость в грандиозном противостоянии действующим общественным институтам, в оппозиционной активности, равной системе властей по силе и масштабу. Правомочность этой идеи оспаривать трудно – но только если принять саму идею противоборства как пути преобразования общества в мир без иерархий.

Идея равносильного противостояния имеет совершенно определенное свойство – в конечном счете вынуждать, подвигать сопротивляющуюся сторону к структурному, а возможно, и содержательному сходству с другой, к обязательной *симметричности*, к незаметному поначалу внутреннему перерождению, вычерчивая и обособляя в ней сугубо иерархические характеристики, вычленяя новые виды деятельности, наиболее пригодные для конфликтного типа взаимодействия, образуя языковые формы и формулы, понятийные и поведенческие конструкции, соответствующие логике замещаемого мира. Этот механизм старательно превращает прежних революционеров в новых хозяев, борцов с культурой – в ее адептов, непримиримых критиков любого господства – в сочинителей оскорбительных ярлыков и пропагандистов «спасительного» насилия, пустынников – в создателей и проповедников альтернативной системы власти. Не поддаваться такому течению жизни могут немногие, и тех, в конце концов, помешают в пантеон героев и мучеников. Образцы непокорности становятся символами величия.

Неучастие в отношениях власти все же должно быть понято значительно шире, чем бытующий повсеместно самоуспокоительный примитивный изоляционизм. Проблему неучастия следует интерпретировать как необходимость радикального удаления от иерархического принципа и пронизанных им элементов жизни. Хардт и Негри пишут: «Если в дисциплинарную эру важнейшим понятием сопротивления был *саботаж*, в эру имперского контроля им может стать *бегство*. Если “бытие-против” в период современности зачастую означало прямую и/или диалектическую противоположность сил, то в постсовременности “бытие-против” будет действенным в несимметричной или диагональной позиции. Битву с Империей можно выиграть, оставив поле сражения. Это не бегство куда-либо, это

лишение власти ее пространства» (74). Эту мысль, несмотря на несколько дезориентирующую терминологию, очевидно, надо понимать именно в указанном смысле. Неучастие во властных отношениях не как физическая попытка отгородиться, а как игнорирование их по существу, их неизменение, неподтверждение, включающее несоответствие выдвигаемой общественными отношениями норме, стандарту, любой константе – вероятно, необходимый путь к внеиерархическому миру. Я имею в виду, конечно, неучастие, свободное от какой-либо заявленности и представленности, каких-либо форм манифестации (в виде доктрины или учения), – характеристики, которые сами по себе есть типы иерархического конституирования. А также от любых организационных или даже коллективных форм, предполагающих создание общего языка и инструментария, неминуемое возникновение обязательств, регламентов и, соответственно, командных схем.

Чтобы детальнее разобраться в том, какие возможности существуют у аиерархического проекта, временно переключимся на структуру самого коммуникационного процесса. Как бы скучно эти слова ни звучали, результат увлекательен и многообещающ.

Прагматика декоммуникации

В коммуникационном процессе можно выделить, по меньшей мере, два уровня связей – один, отвечающий за обмен информационными сигналами, которые относятся к тому, по поводу чего в данный момент происходит общение, то есть за собственно содержание коммуникации, и другой, представляющий собой обмен сообщениями другого логического типа, придающими некую модальность предыдущим (9, 13). Если первый тип сообщений – это, скажем, что-то вроде высказывания «дай мне эту штуку» и ответа «на, возьми», то второй представляет собой обмен

невербальными сигналами типа «хорошо, что мы сотрудничаем» и, к примеру, «а я не очень этим доволен». Этот, более высокий, уровень коммуникации классифицирует предыдущий и, по сути, является для него *смыслообразующим*. В данном случае, высказывание «дай мне эту штуку» было произнесено в такой манере и с такой интонацией (или в таком контексте), что партнеру и окружающим была заметна инициация кооперации. Мимика или интонация ответа, в свою очередь, позволяют судить об отказе собеседника от предлагаемой ему кооперации. Таким, чаще всего бессознательным, способом оба обозначают свои отношения, по крайней мере, в некой локальной области. Они могут говорить о чем угодно, скажем, о погоде, одновременно излучая симпатию или ненависть, что будет звучать не параллельно светской беседе, а будет включено в ее ткань. Названный уровень коммуникации в целом отвечает за отношения общающихся субъектов. Смысл действия, или, как его еще называют, личностный смысл, и есть отношение.

Разговор может перейти непосредственно к теме взаимоотношений, к «выяснению отношений». Тогда данная тема станет содержанием общения, а более высокий логический уровень займут отношения общающихся по поводу их отношений: скажем, разговор о дружбе может осуществляться не только в дружелюбной, но и в агрессивной манере, что, конечно же, повлияет на исход беседы. Напротив, оба могут продолжать говорить об «этой штуке», несмотря на то, что уже давно фактически перешли к взаимным объяснениям и упрекам, то есть стали выяснять отношения на неадекватном для подобного случая языке содержания общения. Так, кстати, чаще всего действуют, когда этика, страх за репутацию или провозглашенное следование демократическим принципам не позволяют прямо перейти к разбору взаимных претензий или прямому давлению (политического про-

тивника обвиняют в коррупции и т.п.). Наши собеседники, наконец, вообще могут перейти к разговору на языке отношений – рукопожатиям, обятиям, молчаливому хмыканью, хохоту, мордобою. При этом «за кадром», уровнем выше, все равно будет сохраняться более общий смысл действий, и в какой-то момент один из собеседников, услышавший, скажем, похихиканье другого, может спросить: «А что ты, собственно, хочешь этим сказать?»

Общение может быть представлено в качестве многоуровневого явления, в котором каждый более высокий уровень, метауровень, является смыслообразующим для предыдущего. Общественные отношения протекают в наслоениях смыслов, реальные смыслы отношений власти могут быть чрезвычайно удалены от форм действительности, которые эти отношения принимают.

Как отмечают Пол Вацлавик и его коллеги, общение на уровне взаимоотношений представляет собой обмен сообщениями «вот каким я вижу себя в наших отношениях с тобой в данной ситуации» и соответствующими реакциями на эти сообщения – «а я представляю себя в наших отношениях таким-то, а тебя таким-то». Они называют это самоопределением в общении каждого из его участников (13). Собственно говоря, это и есть язык метакоммуникации, посредством которого формулируется тот или иной вариант общения, схема взаимоотношений. В отношениях господина и раба, если они последовательно сохраняют свой комплементарный характер, согласие и согласованность, их разговор все время, во всех фрагментах их взаимодействия, звучит примерно так: «Я приказываю тебе как рабу, подчиняющемуся мне как господину». – «Я подчиняюсь тебе как господину, приказывающему мне как рабу». Если же один из людей вынуждает другого, приказывает ему подчиниться, то есть так или иначе заставляет включиться с ним в комплементарные отношения рабства-подчинения, то мы

имеем дело с метакомплементарными отношениями и, соответственно, логически более высоким уровнем смыслообразования. Этот же человек может прямо не требовать, но создавать специальные условия (и организовать ряд самостоятельных действий) для того, чтобы вынудить другого «добровольно» заключить с ним конвенцию о своем подчинении – и тогда уже мы имеем дело с метаметакомплементарными отношениями. И так далее.

Вообще любое самоопределение может вызывать три типа ответных реакций, совпадающих с тремя типами суждения в «воображаемой» логике. Это утвердительное суждение, то есть подтверждение самоопределения, отрицательное, то есть его отклонение, и суждение противоречия, или индифферентное. Изобретатель «воображаемой» логики Н. Васильев высказывал следующие мысли: «... последнее суждение есть соединение утвердительного и отрицательного суждений, но такое соединение отлично от каждого из этих элементов ... Суждение противоречия представляет совершенно особый случай по сравнению с утвердительным и отрицательным суждениями, а именно – соединение противоречащих предикатов, а потому должно считаться совершенно особой формой суждения» (12).

Эти реакции сопряжены с соответствующими самоопределениями отвечающей стороны, за исключением особенностей третьего случая, когда чужое самоопределение игнорируется и собственное «не предъявляется». Авторитарно-иерархическое самоопределение или, точнее, самоопределение, воспринимаемое как таковое (фактически обусловливающее в коммуникации есть воспринимаемое; между производимым кем-то действием и этим же действием, воспринимаемым другим, всегда существует некий «зазор», которым в дальнейших рассуждениях, чтобы их излишне не усложнять, я пренебрегу), – итак, этот тип самоопределения в качестве подтверждающей ответной ре-

акции получает самоопределение подчинения. В ином случае, при отрицательной реакции, мы имеем дело с неподчинением и самоопределением, возможно, симметричным или даже идентичным отрицающему. Каждая из названных реакций может различаться по способу и модальности, интенсивности, широте охвата, различаться по другим количественным или качественным характеристикам (42).

Принципиальная разница между подтверждением и отрицанием, с одной стороны, и индифферентной реакцией, то есть неподтверждением – с другой, состоит в том, считает Р. Лэйт, что «ответ, содержащий в себе подтверждение, *релевантен* инициирующему действию, он указывает на признание этого действия и соглашается с его важностью, по крайней мере, для самого инициатора. Реакция подтверждения – это прямой ответ, ответ «по существу дела» или «в том же разрезе», что и инициирующее действие ... И отказ может служить подтверждением, если он прямой, а не косвенный, признает инициирующее действие как факт, соглашаясь с его значимостью и правом на существование» (42). Отрицание, каким бы оно ни было болезненным, все же предполагает идентификацию того, что не принимается и, следовательно, не оспаривает трезвости взгляда другого на самого себя. Неподтверждением же *опровергается существование самого источника* этого самоопределения, оно равнозначно признанию «ты не существуешь» и способно приводить объект такого отношения к тому или иному внутреннему рассогласованию, дезинтеграции (13). Следует добавить, что, опираясь на практику семейной психотерапии, исследователи обнаружили и несколько другой вариант неподтверждения, как они отмечают, еще более убийственный и изощренный – когда сам автор сообщения квалифицирует себя как несуществующего, высказывая примерно следующее: «Я на самом деле не здесь, я не существую для тебя» (64).

Теперь рассмотрим более разнообразные варианты реакций, которые вытекают из реакций на самоопределение другого, но направлены уже на само общение, инициированное этим другим.

Прагматика декоммуникации (продолжение)

Если самоопределение инициатора общения подтверждается, это значит, что предлагаемая им модель общения принимается. Другое дело, что такое поведение может быть как следствием принципиального внутреннего согласия, так и уступчивости, послушания, хитрости, подыгрывания, вынужденного или рационального подстраивания и т.п. Понятно, что и сама реакция на самоопределение заметно варьирует не только в пределах названных трех типов, но и в личностно-смысловом плане. Впрочем, здесь и дальше в пределах этой темы я стараюсь абстрагироваться от всех сложных смысловых вариаций и многочисленных нюансов коммуникативных действий, если только какие-то из них не потребуются для конкретных целей.

Я уже говорил о безынициативном послушании и думаю, что оно действительно представляет собой любопытный пример смешения подтверждения и неподтверждения, когда в целом комплементарная модель общения подтверждается, но не подтверждается предлагаемая властью роль другой стороны как энергичного и самостоятельного подчиненного. Власть в данном случае оказывается в довольно сложном положении: для поддержания эффективной схемы взаимодействия она должна настойчивым образом рекомендовать подчиненному быть инициативным, приказывать ему быть самостоятельным, что по сути аналогично известному практически невыполнимому парадоксальному предписанию «Будь спонтанным!».

Отказ от предлагаемой модели коммуникации следует из отклонения самоопределения и может заключаться во встречном инициировании другого типа или порядка общения, ответной агрессии, переговорах по поводу предложенной схемы общения, то есть любой попытки замены не устраивающей модели. Многие из рассмотренных выше техник отрицания относятся как раз к данному варианту реагирования. Отказ и, в частности, агрессивное неприятие, как правило, являются непринятием лишь конкретной иерархической системы, сам же принцип доминирования, сохраняемый в виде устойчивой поведенческой парадигмы, применяется впоследствии на другом «материале».

Подтверждение и отклонение самоопределения, однако, могут иметь своим следствием и другие типы поведения. Реакция бегства, стремление к изоляции, как понятные реакции неучастия, могут наступать в обоих случаях и быть, с одной стороны, попытками отгородиться от отклоняемого неприятного (сюда можно отнести, пожалуй, все эскапистские формы протesta – алкоголь, наркотики, отшельничество, суицид и проч.), с другой же стороны, реакциями страха, защиты, спасения, проявляющимися вследствие признания за оппонентом небезопасных силы и власти, каковые тот и демонстрирует. Надо заметить, что противоположные мотивы и смыслы в реакциях социального бегства часто смешаны, и эта полимотивированность «выдает» линии бегства, открыто манифестируемые в качестве форм протesta, как не всегда состоятельные.

Другой двойственный тип – реакция уклонения от общения, характеризующаяся отсылкой к некому симпту, как правило, ложному. Не желая подчиняться, индивид может симулировать глухоту, тупость, непонимание, плохую память, занятость, болезнь, неловкость, сумасшествие и т.п. Примерно так действует герой Торнтона Уайлдера: «Я ответил ему тем безмятежным взглядом, который взял на воору-

жение в армии, где абсурд не знает границ, и мы, мелкая сошка, не можем защититься иначе, как изображая непрходимую тупость» (7). Тем самым внешне как бы признается возможность подтверждающей реакции, но фактически общение отклоняется, сокрытию чего служит ссылка на помехи со стороны неких не зависящих от индивида сил или обстоятельств («я бы не возражал, но, видите, не могу»). Неплохое тактическое (и иерархическое) средство протesta, имеющее, однако, существенные ограничительные пределы – в таком обмане нетрудно усомниться (как известно, симуляция наиболее убедительных и действенных симптомов, таких как душевная болезнь, требует высочайшего мастерства); обман и сам легко может перерости в способ издевательства, агрессивного глумления, средство сознательного провоцирования, свойственного уже скорее иерархическим тактикам власти. В других вариантах эта техника может иметь смешанный характер, включая элементы бреда и путаницы, присущие больше реакции неподтверждения: «... когда вас начинает шпынить надутая власть, тактика должна быть следующей: улыбайтесь дружелюбно, даже почтительно, понизьте голос, изобразите частичную глухоту и без устали несите всякую околосицу. В результате господин бурбон возвышает голос, теряет рассудок и (самое главное) привлекает к месту происшествия третьих лиц» (7).

Стоит напомнить соображения Бахтина, который отмечал, что в литературе находит широкое применение форма «непонимания» (нарочитого у автора и простодушно-наивного у героев), служащая разоблачению «дурной условности» – в быту, морали, в политике, искусстве и т.п. (7).

Отказ через бегство и симптом находится на полпути к наиболее интересному и перспективному, с моей точки зрения, способу реагирования, а точнее, типу поведения и деятельности. Исключение общения, о чем, наконец, пойдет

речь – это прежде всего отсутствие какой-либо реакции из всех вышеперечисленных. В идеальном варианте это вообще *отсутствие понятной реакции*. Это действие, не определенное в смысловом отношении адресантом и, соответственно, совершенно не понятное адресату. Поведение может вообще не быть обращено на партнера или никак не соответствовать его действиям и поступкам, их смыслу. Я думаю, что любую *неопределенную реакцию* в коммуникации по большому счету следует рассматривать как технику свертывания коммуникации, сведения ее на нет. Подобная реакция характеризуется отсутствием привычных, узнаваемых знаков подтверждения или отрицания, она не является, как можно подумать, формой пренебрежения или неприязни, которые связаны скорее с различными техниками отказа от общения.

Важнейший пример такого случая – поведение мелвилловского персонажа, писца в конторе стряпчего, Бартлби, всегда использовавшего для невыполнения указаний хозяина странную неопределенную формулу «я бы не предпол». «Формула, – пишет Делёз, – все сметает на своем пути, ибо безжалостно уничтожает как предпочтительное, так и непредпочтительное. Она упраздняет понятие, к которому относится и которое она отвергает, а заодно и другое понятие, которое, как кажется, она сохраняет и которое становится невозможным. В самом деле, она делает их неразличимыми: несет с собой пустоты неразличимости, неопределенности, которые постоянно занимают все больше места между непредпочтительными и предпочтительными действиями. Упраздняется всякая особенность, всякая точка отсчета» (19). Восхищенный этой формулой неповиновения, Делёз заключает: «Бартлби является не больным, а врачом для больной Америки, Medicine-man, новым Христом или братом для всех нас». Не Христом, конечно.

В качестве техник исключения называют такие феномены коммуникации, как самоопровержение и дисквалифи-

кация сообщения, изменение и отклонение от темы или предмета разговора, незавершение предложений, невразумительную речь, непоследовательность, буквальную интерпретацию метафор и метафорическую интерпретацию конкретных замечаний (13, 64). Понятно, что сказанное в основном относится к тем или иным формам безразличия, невнимания, неотзычивости, каковые в действительности встречаются довольно часто и имеют смешанный, локальный, эпизодический характер. Иногда, однако, эти формы характеризуются постоянством применения и определенной последовательностью, что случается, скажем, в «шизогенных» семьях.

Рассматриваемый механизм декоммуникации, – очевидно, что-то близкое к тому, что Делёз в другой своей работе назвал «вакуолями не-коммуникации», позволяющими ускользнуть от контроля (21). Кажется, нечто похожее Поршнев именовал контрасуггестией, обозначая этим термином различные асемантические техники, применяющиеся еще древним человеком в ответ на внушающее воздействие речевого обращения (58).

Реакция исключения общения базируется, главным образом, на неподтверждении чужого самоопределения, но она, как следует даже из последнего уайлдеровского примера, а также случая Бартлби, может, пусть и не всегда здраво и осознанно, использоваться и как прием, как тактическая операция для отклонения самоопределения оппонента. Темы тактической защитной неопределенности я подробнее коснусь позже, сейчас только замечу, что в ней все же установлены те или иные пределы непонимания, я же интересуюсь неограниченными величинами необъясненного.

Такое поведение, конечно, в значительной мере свойственно людям с диагнозом «шизофrenия». Неподтверждение, используемое в шизофренической модели взаимодействия и ведущее к развалу коммуникаций, Сельвини

Палаццоли называет высшим пилотажем коммуникативных маневров (64). «Можно наблюдать, как шизофреник избегает или искажает все, что могло бы идентифицировать либо его самого, либо лицо, к которому он обращается. Он может устраниТЬ все, что указывает на принадлежность этого сообщения, и в частности – ссылки на отношения между двумя идентифицируемыми людьми с определенными стилями и предпосылками, управляющими их поведением в этих отношениях. Он может избегать всего, что дало бы возможность другому интерпретировать его слова. Он может скрывать, что он говорит метафорами или специальным кодом, и он постарается исказить или скрыть любую пространственно-временную привязку. Если взять за аналогию телеграфный бланк, можно сказать, что шизофреник опускает все, что должно быть вписано в служебную часть бланка, и модифицирует текст основного сообщения так, чтобы исказить или скрыть указания на эти метакоммуникативные элементы нормального целостного сообщения. То, что останется, скорее всего будет метафорическим высказыванием, не помеченным как таковое. В крайних случаях не остается ничего, кроме монотонной передачи сообщения «Между нами нет отношений»» (9).

По мнению Вацлавика, основная проблема шизофреников состоит в том, чтобы одновременно и не общаться, и отрицать, что их поведение – это все же общение (13). В нашем же случае – в наиболее желательных его формах – речь идет об исключении общения по мотиву непризнания (отказа от) предлагаемого типа общения, но одновременно и о непризнании того, что имеется в виду отказ. Возможно, это тоже что-то типа «шизофренического языка», но дело еще и в том, что не должен признаваться и факт использования этого языка. Если иметь в виду клинические аспекты шизофрении, надо сказать, что в различных элементах «непонятного» поведения шизофреников, в их жестах и позах все же

имеется свой обнаруживаемый смысл (84). Отсюда (но не только отсюда) вытекает необходимость самостоятельной *неопределенной деятельности* (не отдельного действия), сохраняющей неопределенность на ряде метауровней.

Довольно нелегко, но, тем не менее, *необходимо представить* себе подобную живую реакцию в бескомпромиссном, максимально полном, истинном выражении, соответствующем «неживому» максимализму логического подхода, примененному в анализе Васильева: «Суждение противоречия есть суждение, потому что суждение есть высказывание истинного, а если в каком-нибудь мире противоречие реально, истинно, то высказывание противоречий будет истинным и, значит, будет суждением» (12). В выражении активного и интеллектуального действия, деятельности.

В какой мере неподтверждение является по сути непризнанием существования источника заявленного самоопределения, в такой же мере исключение общения есть непризнание данного общения как такого. Исключение общения, в отличие от всех других способов реагирования на иерархическую модель коммуникации – находящихся в рамках иерархического поля, базирующихся на фактическом признании достоверности, действительности, действенности этой схемы и выстраивающих линии поведения в соответствии с поведением другого и на его языках, – есть единственный *внешерархический* путь социальной активности.

Глава 3

Сталкиваясь с неопределенностью, накатывающей на него объективными признаками реального явления и некой природной силы, человек теряет опору, а ведь он привык во всем и повсюду руководствоваться знаками и указателями, позволяющими интерпретировать смысл происходящего. Речь, по существу, идет о языке, или системе кодов, используемых в коммуникации всеми ее участниками и являющимися если не гарантией ее успешности, то, по крайней мере, обязательным условием таковой. Неиспользование подобных кодов и их разрушение ведет к распаду коммуникации – подобно тому, как два корреспондента, не владеющие общей системой письменности, не смогут напрямую вести обмен почтовыми посланиями. Привлекаемый к их делу посредник, переводчик или какое-то ретранслирующее устройство – все равно некий код, использующий шифры перевода. Неопределенная активность предполагает и необщение с переводчиком, вообще молчание, не предлагающее взамен никаких других знакомых и незнакомых символов, даже знаков собственной идентификации, и, конечно, мнений по поводу кодов. Наш иерархический путешественник попадает в зону нерасчлененности, где все путеводители теряют свои волшебные свойства. Их можно выбросить. Он теперь должен всё сам.

В общем, вот основное, что мне хотелось бы сказать в этой главе. Те, кого не интересуют детали, могут сразу перейти к дальнейшим главам, где сказано о существующих практиках и возможных элементах неопределенного пове-

дения. Оставшимся будет предложено несколько более подробное описание языка человеческого общения и разные аспекты его неиспользования.

Константные смысловые конфигурации

Восприятие познаваемого мира у человека и у человечества осуществляется через фильтры, в которых реальность проходит некое субъективное расчленение, обретая своеобразную упорядоченность и объяснение. По В. Налимову, основными фильтрами сознания, перерабатывающими чувственный опыт взаимодействия человека с миром, являются: 1) пространство, то есть возможность интерпретировать мир через множество возможных геометрий, 2) время – как идея и числовая мера изменчивости, 3) число, модели исчисляемости окружающего мира, 4) вероятность – как мера размытости наших представлений о происходящем (48). Исчисление, как вытекает из математической природы всех названных механизмов фильтрации, может быть отнесено к разряду первичных, архетипических принципов. Очевидно тогда, что к еще более общим, базовым принципам человеческого сознания следует отнести отвлечение от реальности через абстрактные категории. Таковые имеют внешне выраженные знаковые отображения – цифру, формулу, схематическую последовательность, а также букву, слово, рисунок, любой иконический и неиконический знак – более или менее стабильные конструкции, являющиеся основополагающими элементами языка общения.

Упорядочение информации в коммуникации происходит при посредстве многообразных лингвистических и психосоциальных констант, которые находятся в сложных взаимодействиях друг с другом. Первостепенный интерес в данной связи вызывают системы представлений о реальном и отношений к реальному, которые, будучи стандартизированы в рамках той или иной культуры или субкультуры.

туры, а также в рамках индивидуальности, выполняют роль организаторов социального поведения, подчиняя его определенному порядку. Речь идет о выработанных обществом значениях предметов, явлений, событий. Это некие стабильные смысловые системы, реализующиеся через такие общеизвестные феномены, как знание, понятие, а также норма, привычка, эталон, ценность и т.п., и отличающиеся от сугубо индивидуальных, чрезвычайно подвижных (иногда мгновенных) смыслов – уникальных представлений и отношений, которые возникают в конкретных пространственно-временных координатах и в них же исчезают.

Значения передаются, или, по мнению Поршнева, ваются в процессе коммуникативного воздействия – речевого прежде всего (59). То есть, иначе говоря, в основном они *некритически усваиваются* в ходе приспособления индивидуального сознания к социальной реальности. Сама «технология» индивидуального присвоения значений обладает различимыми чертами иерархического подчинения, построенного на неаналитическом принятии чужих субъективных содержаний. В этой связи иногда говорят об *имплантации* социокультурных норм и образцов, которые не воспринимаются людьми как привнесенные извне, а *переживаются как собственные и кристаллизуются в сознании человека на протяжении всей жизни*.

Уникальные индивидуальные мотивы, личностные смыслы ищут свое воплощение в «готовых», выработанных предшествующим общественным опытом значениях, более или менее адекватных этим смыслам (39). Личностные смыслы переплетаются со значениями, часто полностью срастаются с ними, становятся значениями, превращаются в стереотипы, направляющие поведение и деятельность по заранее прочерченной траектории. Но стереотипы «не совпадают с реальностью, поскольку уходят от конкретного и довольствуются предвзятыми, застывшими и однозначны-

ми представлениями, которым индивидуум склонен приписывать почти магическую силу» (1).

Значения, в свою очередь, обретают свое выражение и аккумулируются в знаках – которые, как представляется, и есть свернутые стандартизованные отношения или их символы (мне кажутся наглядными, но совсем не исчерпывающими примеры как всевозможных народных примет или, скажем, простой улыбки, так и торговой марки, государственного символики, дорожного знака). Человек, таким образом, говоря упрощенно, чаще всего действует по системе сценариев, заданной некой семиотической картой. Если многие элементы рассматриваемого процесса остаются скрытыми даже от пристального внимания, то совершенно очевидна зависимость существенного числа человеческих поступков от традиции, моды, суеверия, канона, правила, обычая и проч. И в первую очередь, от вербальных систем.

Язык, используемый в вербальной коммуникации, упорядочивает мир в соответствии со своими собственными, внутренними законами. Как полагает К. Ажеж, фонологическая и грамматическая системы каждого языка связаны между собой разнообразными связями взаимодействия, которые во внеязыковой действительности не соответствуют ничему: «Противопоставляясь последней, они обуславливают автономию языков как моделей производства смысла. По этой причине языки функционируют как хранилища понятий или как классификационные принципы ... языки представляют наше восприятие мира в расчлененном виде, в виде линейно упорядоченных знаков ... язык наделен способностью воссоздавать мир, упорядочивая его в соответствии со своими категориями» (3). Некоторые исследователи называют доминирующее влияние свойств языка «тиранней лингвистической обусловленности» и обращают внимание на *полную несовместимость* двух первичных систем,

в которых протекает существование человека: живой системы, динамичной и циркулярной, с одной стороны, и символической системы, дескриптивной, статичной и линейной – с другой (64). Лингвистическая система (к тому же с заложенными в ней оценочностью и морализмом), является препятствием к восприятию и производству уникальных и подвижных индивидуальных смыслов. Энциклопедии, справочники и словари – это очаги (и сгустки) когнитивной определенности, помогающие превращать индивидуальное бытие в кошмар срежиссированной жизни.

То же – музеи, пинакотеки, кунсткамеры. Зверинцы, ботанические сады, компьютеры, банки. Калькуляторы, кладбища, каталоги, таблицы. Пистолеты, рифмы и коробки для пиццы. Упорядочиватели.

Сходными чертами обладает язык эстетической гармонии: он классифицирует ценное и неценное, определяет меру качества как явно художественного, так и явно внехудожественного явления, разделяет на «красивое» и «некрасивое» и тем самым отделяет желательное от нежелательного. Желательное становится главенствующим и одновременно средством притяжения, вовлечения в нужный манипулятивный контакт и соответствующего использования, а нежелательное – второсортным, оттесняемым и подчиненным уже как всякое социально невостребованное. Критерии структурности и гармоничности, равно как и требования обоснованности, обусловленности, оправданности, применяются ко всяkim новым, новаторским подходам. Вспомним мнение философа Друскина, отказавшего поэту-заумнику Игорю Терентьеву в новаторстве именно по причине отсутствия у того интенций к созданию «новой эстетики», но тут же не согласимся со строгим критиком, и вовсе не потому, что он философ, еврей и гомосексуалист.

Константы возникают не только путем выдумывания или отпочкования новых стандартов, какого-либо дополне-

ния существующих констант или их саморазвития, но они также вырастают из сопротивления существующему порядку вещей. Отрицание утверждает себя прежде всего через формирование противопоставленных отрицаемому знаков и значений.

Подчиненность человека образам, структурным критериям, логическим схемам означает его бытование в мире гештальтов, целостных образно-семантических систем, руководящих его поступками. «Единичный человек, – писал Эрнст Юнгер, – включен в обширную иерархию гештальтов – сил, которые невозможно даже и вообразить себе достаточно действенными, ощущимыми и необходимыми. Сам единичный человек становится их иносказанием, их представителем, а мощь, богатство, смысл его жизни зависят от того, насколько он причастен порядку и противоборству гештальтов» (81). Конфигурации значений подавляют и перерабатывают индивидуальность, но они же, ослабляя волю к неиерархизированной жизни, создают взамен архетипы порядка, ощущение душевного комфорта и чувство «уверенности в завтрашнем дне». Люди в большинстве своем склонны следовать обыденной логике и «здравому смыслу», особенно очевидно их пристрастие к бытовым обобщениям и суждению по ассоциации и аналогии там, где эти приемы *совсем неуместны*, – в области человеческих отношений и понимания сокровенных личностных содержаний.

То, что в теории информации называется избыточностью, то есть свойством структуры, характеризующимся способностью достраивать ее недостающую часть исходя из наличных элементов, постоянно присутствует в моделях жизненного существования: человек непрерывно достраивает структуры своих поступков и модели интерпретации чужого поведения на основе личного и усвоенного общественного опыта; человек таким же образом прогнозирует, предвосхищает будущие события. В повседневной жизни,

насыщенной многообразными взаимоотношениями, это служит основной причиной предвзятости, предубеждений, предрассудков, условностей, стирающих и стандартизирующих индивидуальность, делающих ее подчиненной знаку, а через знак – любым силам, освоившим производство знака. На основе сетки актуальных значений люди домысливают прошлое, а оно, не существовавшее никогда прошлое, превращается в знаковую аргументацию для субъектов манипуляции настоящим. На влечении человека к завершению структуры построены многочисленные коммерческие технологии.

Авторитет. Что заставляет людей внимать речам, слепо следовать мнениям других только по той причине, что те – всеобщие любимцы?

Сами процедуры общения людей представляют собой достаточно регламентированные последовательности взаимных действий и сигналов. Люди действуют в соответствии с определенными правилами и ритуалами, которые являются не просто элементами все того же языка коммуникации, но и, как считается, средствами предупреждения «отклонений» и «беспорядка». Последовательности эти далеко не всегда полностью предсказуемы, но иногда имеют почти запрограммированный характер, доводя поведение участников общения до автоматического следования некой фабульной логике.

«Диван, перед ним стол, по бокам два кресла, на столе лампа, альбомы. Входят гость и гостья. Хозяйка дома усаживается на диван и усаживает рядом с собой гостью; хозяин садится в кресло направо, а гость в кресло налево. И то, как они будут вести разговор, никому из них ненужный, и как гость попросит разрешения курить, как хозяйка скажет “ах, пожалуйста”, а хозяин зажмет спичку и подвинет к гостю пепельницу, и тот аллюр, каким горничная принесет

чай с печеньем, и манера отказа гости от второй чашки чаю, и интонация вопроса “может быть, вы хотите со сливками” и пр. и т.д. ... – все это, если вдуматься, если вчувствоваться, отдает тоской машины, отливающей сальные свечи, когда повсюду уже электричество, – машины, владелец которой умер, позабыв остановить завод, все еще откуда-то течет в нее сало, и машина все работает и работает, заряженная, скрипучая, громоздкая, неуклюжая, никому, т.е. решительно никому, ненужная» (25).

Общепринятое значение диалога может частично или полностью заменять, нивелировать его нужность для обоих субъектов, и так построена действительно значительная часть жизни. Многие поступки людей являются следствием условных договоренностей, косвенных конвенций, что превращаются порой в непреложные правила, навязываемые индивиду (мода, сословный стандарт потребления, «хорошие манеры»). Власть устоявшихся, дежурных отношений над личностным смыслом, формами над чувством, над субъективной и неорганизованной интенцией является неотъемлемой характеристикой жизни «по значениям». Люди начинают даже переживать то, что «должны», исходя из сетки бытующих стандартов чувствования.

А еще – псевдоморфоз и опасения за репутацию.

Характеризуя форму как привычную посредницу власти, Ванейгем в «Революции повседневной жизни» приводит очень уместные здесь слова Гомбрёвича: «Мы до сих пор продолжаем думать, что нашим поведением правят чувства, мысли или идеи, в то время как Форму мы принимаем за безобидный орнамент или аксессуар. И когда вдова, следя за гробом своего мужа, тихо плачет, мы думаем, что она плачет, потому что чувствует боль своей утраты. Когда какой-нибудь инженер, врач или адвокат убивает свою жену, своих детей или друга, мы считаем, что к убийству его подтолкнули инстинкты кровожадности и насилия. Когда

какой-нибудь политик публично говорит глупости, путается или врет, мы объясняем, что он дурак, потому что тупо изъясняется. Но в реальности дело обстоит так: человеческое существо самореализуется не в непосредственной манере, соответствующей его природе, но всегда через определенную Форму, и эта Форма, образ существования, способ говорить и реагировать, происходят не из него самого, но привнесены извне ... Когда вы сознательно противопоставите себя Форме? Когда вы перестанете отождествлять себя с тем, что определяет вас?» (11).

Ведь прекрасно знаю, что действительное потепление, таяные снега, запахи природы начинаются здесь не раньше апреля, но все равно, как и многие другие, упорно ожидаю весны уже с марта, весеннего месяца по календарю. И по настоящему мучаюсь так каждый год.

Разные правила находятся в сложных взаимосвязях и в некотором взаимном подчинении. Предписывающие и ограничивающие правила, которые определяют репертуар поведения, порой сами требуют определения, чему служат правила, вводящие понятия или формулирующие более общие принципы для первых. Последние, в свою очередь, тоже обладают не одним уровнем. Мета- и метаметаправила человеческого общения, по всей видимости, следуют рассматривать в качестве базовых констант коммуникационного процесса и основных условий успешного (то есть достигающего поставленных задач) общения. По Грайсу, вступая в контакт, люди прежде всего руководствуются принципом кооперации, исходят из достижения совместных целей. То есть хотят общаться и придают значение диалогу. Выполнению этого принципа служит ряд конкретных постулатов, объединяемых в несколько категорий. Категория количества связана с необходимым объемом передаваемой информации – сообщение должно содержать не больше, но и не меньше информации, чем требуется для выполнения целей текущего диалога.

Категория качества связана с истинностью передаваемой информации – «не сообщай того, что считаешь ложным» и «не говори того, на что у тебя нет достаточных оснований». Категория отношения представлена постулатом релевантности, требующим придерживаться предмета общения, темы диалога. К категории способа относится общий постулат ясности сообщения: он распадается на несколько частных постулатов, требующих избегать запутанности, непоследовательности, неоднозначности (18). Здесь в точности указаны как методы поддержания расчлененности и неоднородности, так и некоторые прямые пути ухода от них.

Другие правила и конвенции требуют, чтобы партнеры координировали взаимное поведение (принцип очередности, правила дорожного движения, принципы ролевого разделения), избегали взаимной агрессии, опирались на общие знания, выполняли свои обещания. Множество из используемых норм человеческого взаимодействия имеет официально признанный характер и их нарушение оговаривается в законах, другие относятся лишь к области этики. Не буду перебирать многообразные нравственно-этические нормы, регулирующие коммуникацию, считаю достаточным упомянуть известный принцип вежливости Дж. Лича, смысл которого в том, что партнеру необходимо придавать ту социальную роль (я бы добавил: и самоопределение), на которую он претендует (6). Принцип включает максимы такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии. Эта отражающая идеальные этические отношения модель по сути базируется на признании логики иерархии и выражает преобладание стиля подчинения. Вежливость – это значение, форма уступчивости, и она есть маска («Улыбайтесь!»). Но даже при искреннем исполнении названных максим всегда кто-то уступчивей – в противном случае, как замечает и сам Лич, происходит pragmatический парадокс по типу «комедии бездействия», когда оба,

сначала не желая уступить другому в вежливости, внезапно одновременно принимают уступку противной стороны.

Правила общения требуют также, чтобы партнеры были как-то обозначены, чтобы и адресант, и адресат сообщения были соответствующим, достаточным для данного диалога образом идентифицированы. Чтобы они имели имя или порядковый номер, половую идентичность, социальную принадлежность, какие-то особенности, соответствующие направленности конкретной коммуникации (цвет кожи, кредитоспособность, профессиональные знания и проч.). Чтобы, наконец, они неожиданно не исчезли.

Контролеры определенности

Контроль за определенностью, фиксированностью, стабильностью – неотъемлемое свойство и постоянная забота общества и государства, создающих и поддерживающих системы ценностей и норм, навязывающих эталоны потребления, коммуникативные стандарты и проч. Само «успешное» общение с его обязательными нормативами является важнейшим нормативом человеческого существования, будучи средством движения вверх по иерархической лестнице и во многом критерием стратификации в управлеченческих вертикалях. Навыки коммуникативного захвата в расставленные товарные, услуговые, идеологические сети действуют через смысловую фиксированность, каковая образуется при помощи унификации желаний, централизации экономического и символического капитала и стандартизации демонических сил.

Тоффлер, доказывающий, что мы живем в эру всемогущей децентрализации и капитал, собственность, став полностью символическими (электронные деньги, виртуальные ресурсы, знания и т.п.), теперь рассредоточены по многим головам, и, стало быть, все являются собственниками средств производства (70), прав, однако, лишь в одном, что

у рабочих в головах – тоже символы. Но настоящие абстракции-манипуляторы, власть в обществе и над обществом – не у них.

«Для успешного функционирования иерархии необходимы все более высокие уровни абстракции. И дело не только в том, что концепция иерархии сама является абстракцией. Появилась необходимость выделять людей в отдельные категории – классы и касты, в свою очередь тоже являющиеся абстракциями. Накопление повлекло за собой специализацию, а вместе с ней и резкое повышение значимости ролей. Отождествление человека с ролью – это абстракция ... Появление счета, а потом и математики позволило людям манипулировать абстрактными символами, которые можно было использовать и для других, более широких целей ...

Историю человечества можно рассматривать с точки зрения реализации все более усложняющихся абстракций ... Ценность – это абстракция. Приданье символической ценности металлам, камням, монетам, бумажным деньгам, кредитным карточкам, акциям и облигациям подразумевает использование все более высоких уровней абстракции для обеспечения все более сложных форм обмена. Таков еще один способ достижения власти. Законы природы – это абстракции, так же как понятия добра и зла, моральные устои и мировоззрения – все, что регулирует человеческие взаимоотношения. Правила, так же как и культурные роли, – это тоже абстракции ...

Власть в обществе напрямую зависит от того, кто создает и контролирует его систему символов. В течение всей истории абстракциями осознанно или неосознанно пользовались те, кто создавал их в собственных интересах для обоснования своих привилегий» (35).

Язык – такое же манипулятивное средство, частный случай. Слова – это не только приказы и требования, они – посредники во всех коммуникациях, и потому вы-

страивание нужной коммуникации опирается на специально подбираемые знаки и символы. «У языка есть замечательная особенность – служить потаенным источником власти ... тот, кто полностью владеет языком, удерживает в своих руках большую власть, чем тот, кто владеет языком нетвердо ... Власть заинтересована в единстве языка, вариативность доставляет ей одни неудобства, ведь если варьируют способы выражения, которые сами по себе могут затруднить денежное обращение, значит, варьируют и способы мышления ... попадая в руки тех, кто ставит себе целью определять поведение других, язык становится орудием власти в самом прямом смысле слова. Часто язык другого изучают для того, чтобы вести с этим другим торговлю, но столь же часто, если не чаще, чтобы подчинить его своей власти, политической или религиозной» (3).

Уровень содержания общения и уровень взаимоотношений используют разные системы кодирования. Вслед за Вацлавиком (13) полагаю вполне уместным использовать здесь понятия цифровой и аналоговой коммуникации, понимая, что аналоговое (характеризующее взаимоотношения), оно же невербальное, может становиться предметом цифрового общения (путем не совсем точной ретрансляции). Коммуникация по осуществлению власти, как и коммуникация по осуществлению дружбы, затрагивающая самоопределения общающихся субъектов, относится исключительно к области отношений, то есть всегда некого метауровня общения, но чаще всего ведется через систему цифровых кодов. Многослойность коммуникации власти в повседневной общественной жизни означает многоступенчатое отдаление глубинных смыслов и применение слоев цифрового кодирования (слова, числовые переменные, знаки событий и т.п.). Именно удаленные глубинные смыслы и есть «беспредметность», которая представляет собой не отсутствие предметов, как ее часто понимают, а отражение,

нет, изображение отношений, смыслов в чистом виде (в «предметности» же всегда смешано содержание и отношение, как в любом поступке). Вообще-то я – о беспредметном искусстве, оно – лучший пример.

Отношения власти *опосредуются константами*, преимущественно цифровыми по своей природе; существующие цифровые знаки (коды) заряжаются властью в необходимости использования властью или создаются в процессе власти. У власти, как и у любых аналоговых связей, существуют и собственные знаки (укус, например, или поощрительный кивок); вообще аналоговые сигналы превращаются в систему приблизительных аналоговых знаков (в правила и «постулаты» или просто в «знаки общения» – например, улыбка превращается в знак улыбки), но легко и часто преобразовываются в цифровые (знак улыбки в слово «улыбка», дружба – в «дружба» и т.п.), но и цифровые, конечно, обращаются в аналоговые (нейтральный букет цветов может стать, как известно, важным признаком внимания). Я говорю к тому, что иерархия оперирует символами как деньгами, пользуется, как деньгами, которые и есть символы и конвертация власти. Но деньги, как и другие символы, живут сами по себе, и не совсем понятно, какие к ним могут быть особые претензии.

Сильнейшая власть привычки, подчас самой глупой, над человеком вызывает в нем зудящее беспокойство, стоит только случайно нарушить принятый внутренний регламент или даже не очень важный его элемент. Тяга индивидуума к стереотипизированному поведению используется системами власти для ориентации его в выгодном направлении. О механизмах скрытого воздействия на человека через его стереотипы можно прочитать в любом учебнике по «психологии влияния».

Реклама, торговля, пропаганда – всё действует через принятие знака, значения, тебя вовлекают в контакт и из-

влекают прибыль из твоей тяги к значению. В подчинении общепринятыму знаку, пожалуй, больше всего подчинения стоящему за ним обществу, общественному мнению (или субобществу и субмнению), в том числе и напрямую – мнению о твоих социальных качествах, в частности, об иерархических способностях. Мне кажется, что здесь право на существование имеет напрашивающаяся условная параллель с модным образом человека-зомби. Только это рефлексирующий зомби.

Для того, чтобы эффективно управлять людьми, им внушают, что иерархия всегда была, всегда есть и всегда будет, что чтобы хорошо жить, надо выиграть войну, что все дело в мудром правителе и честных чиновниках, а также инициативных гражданах, что вся история «являет собой примеры». И исторические факты действительно всегда все подтверждают. Константа – вообще вещь авторитетная, поскольку раз она вообще еще есть, значит она заслуживает того, чтобы на нее опереться, даже как на точку отрицания. Она – скрытый символ стабильности и спокойствия, а что лучше для манипулирования в социальной политике, чем символы разумеренной, уверенной, прочной жизни? Она безопасна, поскольку предсказуема. Она – знак стабильности в смысле стабильности выбора, всегда между константой и ее отвержением. Константы это вообще не только элементы коммуникационного языка, а язык, точнее, некий тип метаязыка: принимая константу, ты каждый раз подтверждаешь сам иерархический сценарий.

За ней – структурирование воспринимаемой и взаимодействующей реальности, обозначение нормы, а значит, очерчивание зоны недопустимого и фиксация отклонений. За счет этого она *репрессивна сама по себе*. «То, что номиналистская тенденция искусства в своем крайнем проявлении, в отказе от изначально заданных категорий порядка, влечет за собой социальные последствия, очевидно на при-

мере позиции, занимаемой врагами нового искусства ... Их симпатия к тому, что на их языке зовется идеалом, образцом, является симпатией, имеющей непосредственное отношение к общественной, особенно сексуальной, репрессии» (2). Будучи средством и олицетворением власти (как одобренный и принятый эталон), константы сами становятся властью. Любые константы могут становиться средствами власти и властью. Даже обычные признаки дружбы немедленно станут ею, когда мы того захотим, – «сделай это, ведь мы же друзья!».

Не надо членить запахи – разве я тогда буду раздражаться из-за чьей-либо нестерпимой вони в вагоне?

О порядке вещей

В любом обществе большое значение придается оппозиции «порядок–беспорядок». Противопоставление этих двух миров носит характер борьбы добра и зла. Начиная с самых древних времен, зло неизменно отождествляется с беспорядком, с разнообразными иррациональными силами, с нарушением покоя и гармонии, в которых должны пребывать человек, природа и общество вообще. В соответствии с этим, порядок, означающий меру, норму, структуру, иерархию, рассматривался как атрибут и цель божественного, беспорядок же – как принадлежность сатанинских сил, стремящихся ввергнуть существующее в хаос, в пустоту, в Ничто. В некоторых ранних эстетико-философских воззрениях беспорядочное, то есть все алогичное, рассогласованное, какофоническое, нелепое, вздорное, представлялось в качестве категорий, выражавших отрицательные свойства мира; как противопоставленные гармонии они связывались с инфернальными сущностями в силу искажения божественного образца. Аналогичными свойствами наделялся и «низовой» смех, не соответствующий организованному строю вещей. Путаница и невнятность в речах в древности

могли относиться к числу проступков, действий, приносящих несчастье (72).

Трикстер с его необузданностью, безответственностью, шутовством, плутовством, непостоянством выступает если не демоническим, то все же теневым персонажем в силу автономности, «отколотости» от дифференцированного сознания. Рассуждая об образе Трикстера, К. Юнг писал: «Очевидно, он представляет собой одну из “психологем”, одну из чрезвычайно древних архетипических структур психики. В своем наиболее ярком проявлении он – подлинное отражение абсолютно недифференцированного человеческого сознания, которое соответствует душе, едва оставившей животный уровень» (61). По завершении «дологической» стадии развития человеческого сознания абсурд, склонность к противоречию, внезнаковой спонтанности были оттеснены в области бокового и порицаемого. Сегодня противоречивое или вообще несемиотическое поведение во всех случаях выступает явным отклонением от нормы (3).

Для Норберта Винера, изобретателя философии автоматизации и оцифровывания, беспорядочность сил природы – тот же дьявол, выступающий в виде энтропии и прочих помех в коммуникации или упорядочивающей работе ученого. Беспорядочное – тьма, являющаяся отсутствием света, не сила, но заклытый враг, показывающий меру нашей слабости (16). Затрудняюсь оценить меру проявленного в этих взглядах просвещенного мракобесия (из книги вытекает, например, подобное же «светотеневое» противопоставление капитализма и советского строя), но хочу отметить, что сам такой подход, распространяемый на сферу социального, ведет к тому, что заглушаемое потоками значений новое, новаторское оценивается как помехи и шум. Как то, что, исходя из приоритета собственной системы критериев, следует минимизировать или чем следует пренебречь. «Сигнал может нести информацию для компетентной системы (то есть согласованной по коду с источником

сигнала – П.Г.) и является одновременно шумом для системы некомпетентной. Некомпетентность может обуславливаться как невосприимчивостью к физической реализации сигнала (“не слышу”), так и к различию кодов (“не понимаю”)» (57). Это может быть трагичным – в традиционном историко-культурном смысле, но это и замечательно – в совершенно другом смысле, который я имею в виду в своей работе.

Социальный порядок традиционно ассоциируется с прочной властью и стабильной иерархией, а беспорядок – с разрушением сложившихся социальных связей, хаосом и анархией в смысле бездеятельности и попустительства властей и бесчинств, творимых народом. Функция власти, призванной обеспечивать порядок, священна. «Всякий царь есть бог, потомок бога или царствует по божьей благодати. Это сакральный персонаж. Следовательно его нужно изолировать, оборудовать между ним и профанным миром непроницаемые перегородки. В его особе кроется святая сила, образующая благополучие и поддерживающая мировой порядок … добродетель заключается в том, чтобы оставаться *в рамках порядка*, находиться на *своем* месте, довольствоватьсь своим уделом, держаться в пределах дозволенного, не распоряжаться запретным. Поступая так, человек в меру своих сил поддерживает и весь порядок вселенной» (28). Понятие «беспорядков» всегда означало выступления против властей, стихийные или даже организованные (ср. юридическую формулу «организация массовых беспорядков»).

Негативность, «кромешность» всего, связанного с беспорядком, закреплена в обусловливающих действительные отношения лингвистических кодах – «беспорядок», «непорядок», «бессмыслица», «неопределенность», «неорганизованность», «нелинейность», «безумство», «дисквалификация», «рассогласование» и проч., – словах, а также выражениях, определяемых через отрижение («нерасчлененный» – вовсе не всегда синоним целостности, в данной

системе координат – это непорядок). Замечу, что «насилие», «власть», «смерть», согласно просматриваемой здесь, но, правда, не повсеместно обязательной логике, являются составляющими порядка, а «бессмертие» (известное дьявольское искушение), «безвластие», «ненасилие» – нет. Это тоже «плохо», это, судя по всему, составляющие антимира.

Явления антимира – это и пьяные, бродяги, сумасшедшие, демонстрирующие неупорядоченность и непредсказуемость в поступках. Чужаки и изгои, от которых можно ожидать чего угодно. Они сродни колдуну.

Несоответствие нормам психической жизни – сумасшествие – нелинейное по своей природе явление, оценивается с точки зрения линейного противопоставления: как беспорядок в сложной системе; психиатрия же интерпретируется как способ борьбы с хаосом. При обсуждении нелинейных процессов на языке говорящего так и вертится: «демоны нелинейности».

Беспорядку, однако, определено надлежащее место в рамках общего порядка, понятие порядка поглощает понятие беспорядка как от него производное и, в соответствии с этим, а также более современными представлениями о мире, может строиться на противоречии между ними. Прежде всего, беспорядок во многих случаях рассматривается всего лишь как особый вид порядка. Это открывает путь к пониманию относительности любого порядка, существования разных, несовпадающих систем упорядочивания. Достаточно простым и понятным примером различного типа упорядочивания может служить «пунктуация последовательности событий», субъективный принцип, группирующий в поведенческих последовательностях определенные блоки (13). Одни и те же последовательности разными людьми членятся на неодинаковые фрагменты, отсюда возникают различные субъективные реальности.

Во многих случаях явления антимира – это факты, относящиеся к другим способам классификации и структуриро-

вания. Понятно, в общем, что к нему причисляются любые феномены, не соответствующие доминирующему в данное время и в данном месте порядку вещей или бунтующие против него. «Господствующему в обществе сознанию то сознание, которое хотело бы подойти к ситуации иначе, путем уклонения от всего устоявшегося, от всего, что затвердело и окаменело, всегда представляется хаотичным» (2). Беспорядок – это чаще всего запрещенный или порицаемый другой порядок. Или способ установить таковой. Тогда все неумолимо движется к симметричности взаимодействия, а следовательно, к гомеостазису и структурной гармонии.

Временное рассогласование функций и нормативов, как считается, даже полезно для главного порядка, обеспечивает его очищение, обновление, омоложение. Такие задачи выполняет праздник, перерыв в порядке, сходными результатами обладают элементы нарушений правил в социальной деятельности. Как писал Файерабенд, «анархизм помогает достичь прогресса в любом смысле. Даже наилучшая и самая упорядоченная наука будет достигать успехов, только когда время от времени позволит себе немного анархии» (цит. по 31). Подобное «немного перца» существует и в общепринятом отношении к идеям художественной свободы, несмотря на то, что действительный авангард в искусстве принципиально чужд всякой смысловой константности и какому-либо кодированию. Художественный «хаос» быстро оказывается источником новой красоты и изощренных форм эстетического наслаждения.

События повседневной жизни, да и сам человеческий язык содержат множество элементов неоднозначности, противоречивости, которые более или менее успешно перекодируются с помощью дешифрующих эти неопределенности значений. Если они никак не перекодируются, то все равно, как правило, дешифруются, но только по другой системе, уже в качестве очень размытой и неустойчивой, по

большой части вербальной, категории непонятного, неидентифицируемого, неопределенного.

Природа нелинейна, но это слабый аргумент.

Упорядоченность представляет собой отклонение, говорит Глейк (17), но формула неубедительна и, главное, обращает наше внимание не на то. А что, если переставить местами непорядок и порядок или, еще лучше, логику и абсурд, понятное и непонятное? Вот рассуждения Поршнева: «Обычно абсурд выступает просто как невыполнение условий логики. Но что, если перевернуть: логика – это невыполнение условий абсурда? Такая инверсия не будет забавой ума и тавтологией, если даст более широкое обобщение. Так оно и есть. Как условия абсурда можно было бы сформулировать противоположности трем основным законам логики: 1) обязательность многозначности (минимум двусмысленности) терминов, т.е. $A \neq A$, 2) обязательность противоречия, 3) вместо «или-или» – «и-и». В таком случае всякую логичность следует рассматривать как нарушение этих правил. Далее, есть возможность эти формулировки законов абсурда свести к одной позитивной. А именно, формулой абсурда может служить $A = B$. Употребив две разные буквы – A и B , – мы показали, что оба элемента различны, но, соединив их знаком тождества, тремя черточками, мы показали, что они тождественны ... Оба элемента пары, по определению, должны быть столь же несовместимы друг с другом, как нейрофизиологические явления возбуждения и торможения. Но это значит лишь, что и в самом тесном слиянии они не смешиваются ... Эта спайка – явление особого рода: в глубоком прошлом бессмыслица внушала священный трепет и экстаз, с развитием же самой речи, как и мышления, бессмысленное провоцирует усилия осмыслиения» (58).

Почему бы в связи с этим не попробовать заменить слово «неопределенность» другим, не имеющим отрицательной, теневой смысловой окраски? Или цифрой? Или квад-

ратиком или кружком? То есть другим значком, символом или вообще картинкой. Или двумя одновременно. Или словом «советский». Или «ненеопределенность». Или, например, «неопределенность». Но, может, всё это – бараканья типа «позитивного насилия»? И чтобы не идти на поводу у лингвистической обусловленности, лучше, наоборот, ничего не менять? Так и сделаю. Думаю, что надо руководствоваться чем-то другим, но не знакобоязнью. – Встретимся где-нибудь на улице, скажем, у цветочного магазина... – Пожалуй. – ...который напротив полицейского участка. – Нет!!! О Боже! (*Начинается приступ*).

Знак неопределенности

В неопределенности, производимой человеком, неизбежно присутствует другой, неизвестный тип порядка, по крайней мере, если не присутствует, то ищется другими, в силу стремления сознания к упорядочению явлений. Понятия абсурда и формулирования его правил трудно избежать, как невозможно или почти невозможно предотвратить использование ярлыка ненормальности, но чем это так уж может навредить? В русской сказке героя неопределенности ориентируют: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», а он отправляется и приносит Жар-птицу. Разве плохо?

Квалификация явления как понятного или непонятного прежде всего производится путем применения неких хранящихся в памяти эталонов для сличения с поступающим сигналом. Если память, скажем, не хранит сведений, применимых для такого сопоставления (и эффективного узнавания), человек будет воспринимать только *нерасчененный поток* сигналов определенной модальности (27). Этalon, стандарт – это всегда ожидаемое, узнаваемое и запоминаемое, это всегда образы и структуры. Но смысловое восприятие является системой, состоящей из целого ряда этапов и уровней (по Фессендену): 1) получение ин-

формации (звуков, фактов, мыслей); 2) идентификация выделенных из общего фона объектов восприятия; 3) соотнесение получаемой информации с прошлым опытом; 4 и 5) процесс оценивания принятой информации; 6) предвосхищение последующих действий; 7) интроспективная оценка всего процесса. Сказанное распространяется на переработку как единичного сигнала, так и сложных последовательностей. Исходя из модели Дж. Миллера, сюда надо добавить также грамматическую, семантическую, контекстуальную интерпретацию, а также верификацию (см. 27). Поэтому непонимание (и неадекватное понимание) – это неудачный результат всего процесса многоуровневого осмыслиения, но оно, конечно, может зависеть от сбоя почти на любом этапе. Если на стадии получения информации оно может быть связано не только с глухотой или слепотой самого воспринимающего субъекта, но и со слабой физической различимостью сигнала, то на стадии смыслового обобщения системы последовательностей сигналов – как с аналитическим потенциалом реципиента, так и со свойствами самого потока сигналов, например, с его случайной или осознанной противоречивостью.

Центральным, обобщающим признаком здесь надо считать соответствие отправляемого сигнала системе кодов, требуемых особенностями данной коммуникации, рассматривая его более широко, чем просто соответствие упомянутым первичным эталонам сравнения. Стоит иметь в виду и эталоны восприятия, и стандарты оценивания, и стереотипы разнопорядковой интерпретации систем и сложных последовательностей сигналов, в общем, всю многообразную систему знаков и значений. «Понимать язык – значит употреблять только те сочетания и преобразования знаков, которые не запрещаются употреблением, приняты в данной социальной группе, обозначать объекты и ситуации так, как это делают члены этой группы, иметь, когда использу-

ются определенные знаковые средства, те же ожидания, что и у других членов, и выражать свои собственные состояния так, как это делают другие» (47).

Поэтому неопределенность прежде всего связана с новым, до того не существовавшим (или с прочно забытым и ни с чем не соотносимым, не сочетающимся), и с невозможностью подыскать ему соответствующее значение. Принципиальная новизна сама по себе предполагает неиспользование или недостаточное использование в сообщении существующих констант и представляет собой несоответствие эталонам и стандартам, принятым критериям, отклонение от них. В целом, это отсутствие значимой информации, недостаточность предъявленного для соответствующего распознания. В идеале она не соответствует и «стандартам отклонения» (то есть моделям и эталонам отклоняющегося поведения). Надо сказать и о временных параметрах новизны, о неожиданности, внезапности отклонения, то есть о недостатке времени для распознания образа и смысла.

При достаточном количестве времени новое явление или неизвестная комбинация знаков вообще превращается в знак (и в аналоговых, и в цифровых взаимодействиях), любое явление или сочетание оцифровывается, и тогда следует новая комбинация новых знаков и цифр; всё детализируется, измельчается, и отношения оцифровываются все тоньше.

Если конкретизировать практику порождения внезнаковой активности, то очевидно, что здесь мы все же имеем дело с социальным поведением, состоящим из неких константных элементарных частиц, поэтому речь по большей части должна идти не просто о неиспользовании констант, а о противоречивом их использовании, которое заключается не только в двусмысленности одного знака или символа или одновременном присутствии противоположных знаков (символов), но и о чередовании того и другого или присутствия и отсутствия того или другого. В этом случае неоднозначность

связана с ситуацией выбора из ряда равноценных альтернатив, с конфликтом стимулов. *Ребенок слишком умно выражается или говорит басом*. Неоднозначность, в частности, обусловливается и затруднениями в фильтрации сигналов: перенасыщенностью информацией, ее излишней детализацией. *От потока деталей веет ужасом, а некоторым они вполне нравятся, их пересчитывание успокаивает*. Существуют неопределенности, связанные не только с неясной вероятностью исхода события, но также и с неуверенностью ориентации субъекта в самой предложенной системе альтернатив.

Своеобразная «нейтрализация» смысла, используемая в цифровой коммуникации как способ ее игнорирования, менее возможна в том же качестве в этических зонах взаимоотношений. В силу бинарности аналоговых отношений вежливости, неиспользование знака, отклонение от него, не-знак (или не совсем знак), противоречивое его использование скорее означают отказ, несогласие (ср. аналогичную по сути максиму «кто не с нами, тот против нас»). Можно быть либо вежливым, либо невежливым. «Несоблюдение этикетных правил свидетельствует либо о намеренном нарушении норм общественного устройства, либо о недостаточной социальной компетенции. Последнее применительно к взрослым является маркированным выражением чуждости в оппозиции “свой/чужой”. Намеренное нарушение этикета (антиэтикетное действие) представляет собой попытку члена социума изменить свой статус и является осложненным вариантом этикетного действия» (29). Поэтому неопределенность в таких случаях, вероятнее всего, может быть связана с механизмом, который я бы условно назвал «больше, чем знак» – речь идет о превышении необходимого порога вежливости, о преувеличенной вежливости, каковая не запрещена нормами этики и не является прямым признаком неуважения. Стоит сравнить эту технику с «недоукусом», сигналом, которым животное хочет продемонстрировать че-

ловеку, что оно с ним играет. Такое поведение животного означает попытку сказать «нет» («это не укус») в аналоговых взаимодействиях (13). Преувеличennaя вежливость не является каким-либо специальным сигналом, но, по мнению Ренате Ратмайр, интерпретируется как недостаточная искренность (62). Такая же бинарность, как в отношениях вежливости, заложена в любых взаимодействиях, обусловленных четким функциональным предназначением и дифференциацией ролей, например, в ситуации покупки товаров или выполнения приказа. В отличие от первого случая, во втором «перевыполнение» возможно и оно не будет аналогом «выполнения»: с данными действиями традиционно связано представление о поведении «дурaka».

В повседневном толковании неопределенное – это синоним всего странного, необычного, необъяснимого, тайного. Непредсказуемого, ускользающего, неуловимого. Уворачивание от пуль посредством «раскачивания маятника», но и вероятность внезапного предъявления вещи с вредной стороны. Поэтому непонятное может ощущаться опасным. Чужой, другой, новое может восприниматься агрессивным, противостоящим с целью не дополнения, но устраниния или несанкционированного и нежелательного преображения. Любое неопределенное, по своей сути не содержащее признаков очевидной опасности, непрогнозируемо, и потому, очевидно, зрителем допускается худшее. Малевич интересно написал Эль Лисицкому: «... вся цензура по отношению ко мне тоже в таком положении, как Вы, Вы не знаете моей личности, кто я – “нигилист”, “антиматериалист” или “идеалист”; в другом случае затрудняются решить тот же вопрос – “либо анархист, либо контрреволюционер”. Помните, я как-то говорил о том, как на меня напали в лесу несколько человек, но я не обращал внимания, лежал покойно, и это наступающих смутило, и они сказали “либо нож есть, либо что”. Так и у Вас, не знаете, кто я ...» (44).

Неясность провоцирует поисковую активность, путаница индуцирует стремление к смыслу и упорядоченности. На этом принципе основаны психотерапевтические методики, а также психологические тесты – «тест незавершенных предложений», бесформенные чернильные пятна Роршаха, Тематический Апперцептивный Тест и мн. др. – техники, направленные на обращение человека к зонам стигмы.

Наклеивание ярлыка ненормальности, конечно, может навредить. И в смысле атрибуции поведению стереотипных негативных свойств, и в смысле социальных последствий для его субъекта.

Стигма безумия. В фильме «Сказка о потерянном времени» по пьесе Шварца старичок (на самом деле – лишь внешне превратившийся в старичка мальчик) говорит подетски, с соответствующими идеями, лексикой и интонацией. Сидящий рядом настоящий старик называет его «чокнутым» и испуганно уходит. Этолог Конрад Лоренц описывает такой случай: проводя эксперименты по импринтингу утят, он пытался заменять им мать – ходил впереди лягушечку, огибал луг восьмерками и беспрерывно крякал. Подняв голову, он увидел за забором толпу смертельно бледных лиц. Туристы не видели утят за высокой травой, и все это было для них совершенно необъяснимым, по существу, безумным поведением (см. 13).

Стигма шифровки. Общий принцип стигматизации в данном случае таков: «за этим непонятным набором букв, слов, поступков обязательно что-то скрыто» – историческое, эротическое, политическое. Опасное. Дьявольский знак. Сопоставление заумного языка (принципиально асемантического явления) с неким шифром приходит в голову и опытным исследователям, и неграмотным обывателям. В следственном деле Терентьева мы находим придуманную, конечно, им самим, но устроившую следствие формулировку: «беспредметничество» представляет собой способ шифрованной переда-

чи за границу сведений о Советском Союзе. В делах поэтов Хармса и Введенского их поэтическая заумь квалифицируется как способ зашифровки антигосударственной агитации.

Стигма хулиганства. Понятие хулиганства – вполне удачный пример того, как обозначается поведенческий феномен, который при фиксируемом несоответствии общепринятым нормам не имеет видимых причин и объяснений. В эту «корзину» складываются самые непохожие по своим побудительным мотивам не понятые никем поступки. В каком-то смысле происходит атрибуция симптома (практически, то же, что «неизвестная болезнь» и т.п.). «Хулиган», наряду с прочими ярлыками, становится достаточно общим символом синдрома социальной дезадаптации.

Среди сравнительно нейтральных в этом отношении ярлыков, помимо «псих», все же содержащего явные элементы опасности, есть и другие, относительно безобидные объяснения – «пьяный», «дурак», «артист».

Маркировка вообще часто производится в терминах и эмоциональных категориях отказа, что *неизбежно сближает внешнеархическую по своей сути деятельность с симметричным иерархическим посланием*. Стигма, как и любой охранительный импульс, невероятно «адаптивна», хорошим подспорьем для неограниченного развития ее репрессивных возможностей выступает примерно такая казуистическая философия: «Нет более опасного беспорядка, чем тот, который выглядит как порядок, но при этом известно, что часть его, неизвестно какая, на самом деле есть беспорядок» (80).

Важнейший момент, затрудняющий отнесение непонятного поведенческого события к категории отказа, состоит в *текущести его «ненормальности»*. Она должна быть флюктуирующей, непрерывно меняющейся, находящейся в постоянном движении, неизбытной ненормальностью. Она немедленно ускользает от любой смысловой фиксации, в каждый новый момент она предстает в новом обличье.

Принципиальны и нецикличность, непериодичность изменений и флуктуаций, отсутствие различительных признаков направленности движения при ощущимых признаках его наличия, беспрестанные перемены и множение его целей. Именно это делает явление непредсказуемым, невычисляемым, создавая даже невозможность его последовательной идентификации с привычными категориями и узнаваемыми формами беспорядочного, ненормального, бессмысленного.

Количество состояний неопределенности несизмеримо больше, чем количество нормативных состояний порядка. Бейтсон заметил, что есть только один способ сложить слово DONALD и миллионы способов разбросать по столу эти шесть букв (9). Бессюжетное перемещение по вариантам и комбинациям вариантов неопределенности и есть неопределенное поведение, которое и есть само *изменение*.

Это, в несколько более абстрактном отстоянии, то же, что платоновское измерение «чистого становления» – вне какой-либо меры и предела, всегда избегающее пауз и остановок, какой-либо фиксации настоящего и указывания на предмет (20). Но это и то же, что потоки, пропускаемые под социальными кодами, линии абсолютного декодирования, противостоящие «фашизму у власти», – что есть самое важное в делёзовском-с-гваттари «Анти-Эдипе», как я понимаю.

Такое «становление» – это *метанеопределенности* энного порядка. Всегдашний поиск социумом смысловой составляющей в неясном, в отклоняющемся от заданной определенности обуславливает необходимость бесконечных поведенческих модификаций, выполнения сложной неопределенной деятельности, многократно членящейся на неопределенности. Элементы такой деятельности, разворачиваясь в новые самостоятельные деятельности, послужат основой размножения невнятного, базисом творческого освоения социального мира, не созидающего никаких кодовых конструкций.

Глава 4

Известно, что перекомбинация элементов привычного, переворачивание может вызывать недоумение, возмущение, тревогу, даже шок. Нарушение конвенций, касающихся, например, стиля одежды, может провоцировать сильное беспокойство, поскольку это ведет к изменению *природы самой ситуации* (5). Восприятие сложного и неопределенного часто связано с настоящим испугом. По Хекхаузену, стимуляция, порождающая «неконгруэнтность», то есть такая, которая не поддается переработке, потому что слишком сложна и противоречива, резко отлична от ожидаемого, известного, понятного, может вызывать сильные эмоциональные реакции, вплоть до панического ужаса. Это в немалой степени заметное явление было, в частности, экспериментально показано на простых примерах: на шимпанзе, у которых возникали «пароксизмы ужаса», когда служитель надевал наизнанку привычную обезьянам куртку, или на младенцах – если, например, мать, подходя к кроватке, внезапно начинала говорить высоким фальцетом, у них наблюдались аналогичные реакции (75). Вспомним о трепете и экстазе, которые бессмыслица вызывала у древних народов. Непонимание также может вызывать реакции смеха, подавленности, бегства, агрессии. Все они бывают обычновенными ответами на фрустрацию, возникающую во всех случаях столкновения с неким труднопреодолимым барьером.

Непонятное может служить и нередко служит объектом социальной репрессии – по мнению Адорно, например, амузия, то есть нечувствительность к искусству, часто переходит в агрессию (2). Но, как мне кажется, этот меха-

низм прежде требует некого обоснования неизбежной опасности непонятного, причем в обыденной терминологии. Обычно при осуществлении акта агрессии необходим некий внутренний и, главным образом, внешний (расчет на общественное мнение и т.п.) повод, как бы объясняющий и оправдывающий применение силы. Должно произойти приписывание необъясненному феномену стабильной вредоносности, а порой и злого умысла, намеренности – этот механизм обычно используется в провокациях. Оправдание, требуемое для агрессии, кажется, сродни ритуалу, служащему основой, скажем, для судебного фарса. Такой повод как раз и дает стигму, она же значение, в случае амазии или чего-то ей подобного – клеймо вредного, мешающего. При отсутствии таких объяснительных принципов и возможной оправдательной схемы фрустрация, вероятно, все же может вызывать спонтанную оборонительную агрессию, однако в этом случае, думаю, вполне можно говорить и о безответном фрустрировании.

В любом случае, реакция страха при появлении неизвестного и необычного наблюдается значительно чаще, чем реакция приближения, связанная с любопытством (51). Тревога и страх скорее связаны с отдалением, попытками изолировать себя от источника беспокойства (как раз здесь может наблюдаваться реакция агрессивного отпихивания – совсем не то же самое, что нападение). Самоизоляция конкретного продуцента власти – одна из ближайших задач элементарных неопределенных поступков.

Развал конкретного акта общения – это так называемая коммуникативная неудача, изучением которой (как отклонения) занимаются довольно подробно и к причинам которой относят, в частности, такие (я называю наиболее далекие от агрессивной манеры и наиболее близкие к исполнительским возможностям намеренного декоммуникатора): ощущение партнера как не того лица, с которым

следует проводить коммуникацию (по статусу, роли, психологическим установкам и т.п.); нарушения канала связи (недостаточная четкость, громкость и т.п.); игнорирование действительного намерения говорящего в ответе на его сообщение (скажем, ответ на форму вопроса, а не на действительный замысел говорящего); использование многозначных средств; употребление незнакомой лексики (жаргонизмов, диалектизмов, неологизмов и проч.); неточное использование различных вербальных и невербальных средств. Оценивая усилия по созданию коммуникативной неудачи, следует, конечно, различать непонимание, неполное понимание и неправильное понимание. Последнее вряд ли стоит оценивать как желаемый результат.

Развал коммуникации, основанной на процедурном регламенте и фиксированных ролях, связан с непредсказуемыми сбоями в распорядке и предписанных им функциональных обязанностях. Александр Введенский так рассуждал о судебной процедуре: «Это дурной театр. Странно, почему человек, которому грозит смерть, должен принимать участие в представлении. Очевидно, не только должен, но и хочет, иначе бы суд не удавался. Да, этот сидящий на скамье уважает суд. Но можно представить себе и такого, который перестал уважать суд. Тогда все пойдет очень странно. Толстый человек, на котором сосредоточено внимание, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по распорядку, не отвечает, потому что ему лень, говорит что и когда хочет, и хохочет невпопад» (14).

Наиболее важным надо считать последовательное воздействие на саму инициирующую контакт иерархическую систему. В интереснейшей, судя по всему, работе Сирлза «Пытаясь свести с ума другого», сформулирован перечень приемов, применяемых с целью активации в другом разных сторон его личности, противоречащих друг другу. Эти приемы сводятся к следующим:

«1. Я вновь и вновь привлекает внимание к таким сторонам личности δ , которые δ слабо осознает и которые совершенно не соответствуют тому человеку, каковым считает себя δ .

2. Я стимулирует δ сексуально в той ситуации, в которой искать удовлетворения было бы катастрофичным для δ .

3. Я подвергает δ стимуляции и фрустрации одновременно или быстро их чередует.

4. Я относится к δ одновременно на не связанных между собой уровнях (например, сексуальном и интеллектуальном).

5. Я в пределах одной и той же темы радикально меняет эмоциональный тон с одного на другой (т.е. сначала «серьезно», а затем «в шутку» говорит об одном и том же).

6. Я сохраняет тот же эмоциональный регистр, переключаясь с одной темы на совершенно другую (например, вопрос жизни и смерти обсуждается в том же тоне, что и самое тривиальное происшествие)» (цит. по 42).

Перечисленные приемы *индукции противоречия*, а фактически, по большей части, «стратагемы» неопределенного поведения, порождают страх несоответствия, неуверенность в себе, внутренний раскол. Здесь вспомним о Бартлби, чья разрушительная формула вызывала оцепенение. Его хозяин «обезоружен, растерян, озадачен, поражен», более того, он начинает вести себя как сумасшедший, в его заверениях начинает проступать какая-то неясная виновность (19).

Надо говорить о «травмирующих» функциях неопределенного поведения, но не в смысле причинения боли, а в смысле внутреннего переструктурирования и рассогласования – в том субъекте или системе, по отношению к которым оно производится. Неопределенное поведение, перестраивающее и разрушающее конкретную ситуацию коммуникации, становясь последовательностью неподтверждений, выстраивается как бескомпромиссная неотзычиви-

вость, чреватая для ее объекта серьезными психологическими потрясениями. Как заметил один поэт, нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела. То же, думаю, применимо и к социальной структуре, у которой, правда, нет чувств, но зато имеются заменяющие их многообразные поведенческие переменные, механизмы самоорганизации, а также коллективные переживания.

Главным в этом процессе является *обессмысливание* иерархической коммуникативной ситуации, лишение ее приданного ей смысла за счет обессмысливания опосредующих ее констант (правил, языка, других знаков). Должно продуцироваться недоверие к константе, как к конкретной, так и к любой. При этом происходит дискредитация знака без его замены и возможности восстановления. Утрата доверия к константе без предложения альтернативы влечет за собой «смазывание» константы – она начинает «плыть» в поисках замены себе. Сознание иерархизатора будет безнадежно пытаться перестроить систему опор и от этого потерпит фиаско. В отличие от практик *detournement* или «глушения культуры» должно происходить принципиальное обессмысливание, уворачивающееся от любых знаковых аналогий.

В этом ключе можно рассуждать о радикальной субъективности и спонтанности, поведенческих свойствах, о которых иногда твердят без особого понимания. Речь, мне кажется, прежде всего должна идти о *творческой спонтанности* (именно ей придавали важную роль дадаисты, а также Рауль Ванейгем в «Революции повседневной жизни»). Я рассматриваю неопределенное поведение как сложнейшую *интеллектуальную* деятельность, в которой психическая спонтанность не должна служить основой, а должна быть питанием импровизационных, игровых свойств. Как умную, настоящую игру «без мыслей о последствиях», но с мыслями о причинах. Не всегда удовольствие, но обяза-

тельно — самореализацию в изобретательности. По сути, игру в молчание. Она действенна прежде всего в тех обществах, где власть базируется на «участии» и «согласии», на «низовой» инициативе, в сферах, где иерархическая коммуникация имеет (уни)форму сотрудничества.

Глава 5

Практики

Вначале речь пойдет об элементарных техниках неопределенного поведения, некоторых простых базовых операциях, создающих «условные единицы» непонимания. Это и примеры, лучше указывающие общее направление необходимой активности, чем отвлеченные теоретические рассуждения. Их, по большей части, не стоит рассматривать как самостоятельные, изолированные приемы, скорее они пригодны только для создания сочетаний и комбинаций, *сложного и странного варева*, искусства — почему я и говорю об элементах, или «серундовых орудиях». Да и вне контекста свойства элементов теряются. Поэтому будем иметь в виду некоторую условную ситуацию установления иерархического контакта или вовлечения в такой контакт. Надо добавить, что здесь не будет строгого членения на непересекающиеся атомы, возможно, и потому, что таковых не существует. Здесь не будет никаких классификаций, хотя я их и люблю. По крайней мере, если продолжать физико-химические параллели, мы встретимся и с атомами, и с молекулами, и, наверное, даже с материалом — в смысле тканью, так же как в таблице Менделеева, которая, будучи исполнена в виде школьного наглядного пособия, представляет собой большой лист бумаги, наклеенный на полотно.

Молчание. Физическое, коммуникативное молчание (и в словах, и в действиях). Это, возможно, один из самых многозначных видов реагирования. В различных коммуникативных ситуациях молчанию может придаваться и приписываться какой угодно смысл, даже в обозначенном

мной контексте возможна существенная смысловая вариативность. Как пишет А. Кибрик, «в “наивной теории речевых актов” молчанию приписывается только одна иллоктивная цель – “знак согласия”. Однако в действительности спектр возможных причин/целей молчания намного шире. Так, участник диалога может молчать, если: он не знает, что сказать или как ответить; он хочет выразить пренебрежение или гнев; он потерял интерес к диалогу; он изумлен репликой собеседника (“вопросительное молчание”); он хочет посмеяться над собеседником, например, поставить его в неловкое положение (“ироническое молчание”); если он не хочет выдать свое мнение и сдерживает свое коммуникативное намерение; наконец, если он несогласен с собеседником, но не решается это выразить («вежливое молчание») и т.д. ... Априори трудно найти коммуникативное намерение, которое в принципе не может быть выражено молчанием ... Однако в каждом конкретном случае, при фиксированных коммуникативных параметрах (социальные и диалогические роли коммуникантов, жанр и сценарий диалога, момент в развитии диалога, структура коммуникативных намерений, предшествующая реплика), молчание не более многозначно, чем любая ненулевая реплика, и имеет вполне определенную функцию» (33). К вариантам распространенных смыслов молчания надо добавить молчание как знак покорности, молчание раба и слуги, ролевое «помалкивание». Такая же реакция часто внушается и необходимостью избежать невыгодной ситуации, «отмолчаться», чтобы не попасть в зону специального внимания и интереса. «Священное безмолвие», практиковавшееся у православных монахов, несет в себе, наряду с прочими, и смысл отказа от общения с внешним миром. Безмолвие юродивого служило целям укора. Отщельничество, любое бегство – форма коммуникативного молчания. Пациент, не отвечающий на вопросы психиатра, таким способом сопро-

тивляется «лечебному» вторжению. По своему смыслу молчание также близко к реакции «непонимания», то есть к тому, что может быть интерпретировано как симптом.

Абсолютное молчание, по существу, это вообще отсутствие какой-либо реакции, реплики в диалоге, «ничего», пауза, ступор, торможение любой функции, и если рассуждать с точки зрения отклонения от правил, то правила общения определенно предписывают хоть какую-нибудь форму реагирования на обращенное к субъекту поведение. Полное бездействие охватывает оба уровня общения – и уровень содержания, и уровень отношений, но понятно, что возможно и частичное молчание, на одном из уровней – отсутствие ответа «по существу» либо метауровневая (невербальная, контекстуальная и проч.) индифферентность. Кажется, что именно семантическая неопределенность, задаваемая молчанием метауровня, существенна прежде всего. Но полная неопределенность – все же свойство поступка в целом, и достаточно одному из его уровней «говорить», не молчать, чтобы реплика состоялась. Наиболее развернутая форма неопределенности, очевидно, в том, чтобы либо оба молчали, либо оба «говорили», – но тогда разное, противоположное. Хотя в качестве интенсивного, слышимого эквивалента молчания может выступать вопль (69). Ему, особому исторению, не всегда можно сопоставить отчаяние или радость. Не всегда боль. И не всегда – поэзию, но она точно из вопля. «Обоссаный пистолет» прав, хотя это и не его мысль. Интересно, у кого он это вычитал?

Вариант частичного молчания – «маска» (маска, псевдоним, аноним), скрытие некоторых участвующих в обыкновенной коммуникации факторов за ничего не значащим (в идеальном, конечно, случае) туманом или полотном. Это визуальная или знаковая «заслонка», затрудняющая или препятствующая идентификации субъекта или его соотнесению с привычным, выявлению состояния, намерения.

Черные очки – часто такая же ширма, скрывающая цвет и блеск глаз, усмешку и испуг. Шторы, стены, двери. Высокие заборы, темные стекла в автомобилях, охрана.

Интересно принципиальное отсутствие главных признаков идентификации (имени, определенных черт и т.п.) и даже не с целью ускользания от полицейского контроля, а само по себе. Ванейгем писал об анархисте Либертаде, который сжег документы, удостоверявшие его личность; так же поступили чернокожие рабочие Йоханнесбурга (11).

Молчание – это и немотивированное неисполнение, необязательность. Довольно близко – «дурашлисть», все-гдашняя несерьезность, такое похахатывание и всё.

Непонятные знаки. Мой знакомый рассказал, что однажды он, истинный манипулятор, проанализировал хранящиеся в памяти своего мобильного телефона текстовые сообщения, как полученные от его подруги, так и отправленные ей. Нашел, естественно, что его тексты содержат в основном признания в любви и разные ласковые слова, тогда как ее – по большей части сухую и конкретную информацию. О чем ей и сказал по телефону. В ответ на последовавшее за этим его текстовое сообщение «люблю, скучаю (проверим, что ответишь...)» женщина прислала примерно следующее: «!@_&= = ...” (—?)!!!». Восклицательные знаки в конце этого бессмысленного набора знаков все же выдают ее эмоции.

Невразумительность речи и поведения, невнятная артикуляция, «галиматья». Препятствующий пониманию текста полиграфический брак. Особенно вещи, заведомо бесполезные, неупотребимые ни в каком (в том числе и эстетическом) качестве. Изобретенный футуристами заумный язык, «не имеющий определенного значения», бессмысленные слова и фразы, неупотребимые неологизмы – это чаще всего индивидуальные внесознательные смыслы, удалившись на большое «расстояние». И почти неразличимые,

практически непонятные, но это совсем не означает зашифрованности и дешифруемости «текста», хотя установка на принципиальную непонятность в подобных случаях очевидна, и этот смысл прочитывается, даже манифестируется.

Возможный вариант непонятной активности – так называемый гиперкинез, представляющий собой набор бессмысленных для окружающих действий. Клара А. сидит на стуле, болтает ногами, затем вскакивает, задирает вверх сорочку, пускается в пляс по комнате, простирает руки, хватается за выключатель, продолжает свои плясовые движения, скрещивает руки на груди, потом складывает их словно для молитвы, становится навытяжку, вытягивает руки вперед, хватает лежащие на столе вещи, отдает честь военному, кокетливо озирается и произносит бессвязные слова. Все это – без особой видимой цели (83).

Близки к зауми и гиперкинезу моментальные лингвистические импровизации, глоссолалии, возникающие в сектантских богослужениях, у юродивых, в фольклорных практиках. Ажеж пишет: «Глоссолалия как маргинальный пример изобретения языка в состоянии медиумического или религиозного транса обычно помещается на расплывчатой периферии нормы. При глоссолалии наблюдается странный симбиоз: коммуникативность уживается в ней с несемиотичностью. Это одновременно и коммуникация, и отсутствие или почти полное отсутствие знаков ... И в то же время в такого рода коммуникаций отсутствуют подлинные языковые знаки как некие сущности, которые легко можно выделить благодаря стабильности лежащей в их основе связи между означающим и означаемым и благодаря наличию согласия между членами общества, которые подтверждают законность этих знаков посредством использования их в общении. Таким образом, мы с тревогой обнаруживаем, что данное языковое поведение представляет собой явное отклонение от нормы, извращение конститутивной связи ме-

жду двумя свойствами, которые в норме должны быть неразрывно связаны друг с другом. На окраинных участках территории знака происходит своеобразная коммуникация, которая обходится без посредничества знаков» (3).

Тот же эффект в конкретной коммуникации имеют любые другие – естественные, новообразованные, искусственные – языки, не понятные слушающему, а также предметы, предназначение которых ему неясно. Целям непонимания служат арго и «эзопов язык»; аналоги последнего существуют в современных «примитивных» культурах: описывают, как люди из народности занде пользуются возможностями туманной «косвенной речи» санца, чтобы защититься от возможной недружелюбности своих соплеменников (34). Но все же, в отличие от зауми, это коммуникационные коды, связанные по большей части со специальными субкультурами.

Неоднозначность. Реакция, в которой трудно различить единственный смысл, вызывает растерянность, создает неловкость, возможно, заставляет переспрашивать. Многозначные импульсы вынуждают подыскивать подходящее значение, угадывать и ошибаться.

Размножение «я», преображения, переодевание, многоgłosие, исполнение разных ролей дробят идентичность, создают много отражений вместо одного адресата. Баварский король Людвиг II в жизни беспрестанно исполнял роли разных персонажей, причем это зависело от самых разных обстоятельств: от расположения его духа, от только что прочитанной им книги, от местности его пребывания и т.п. Николай Евреинов рассказывал: «... перечислить все играные им в жизни роли немыслимо, так как Людвиг II относительно большинства из них отличался ревнивою скрытностью. Известно только, что он более или менее часто костюмировался 1) Лоэнгрином, 2) Людовиком XIV, 3) рыцарем ордена св. Георгия, 4) королем Альп, 5) горным ду-

хом, 6) Гундингом, 7) рыцарем Тристаном, 8) пилигримом, 9) высоким путешественником ..., 10) маркизом Saverny (из драмы «Marion Delorme») и 11) обыкновенным смертным, например, графом Бергом (во время путешествия по Франции), Себастьяном Ландмахером – перчаточником из Регенсбурга, Антоном Пихлером – конторщиком из Вены и др.» (25). Не знаю, насколько «король-безумец» был способен разыгрывать незнакомых с ним людей внезапными появлениями в разных обличьях, но судя по его неутолимой страсти к театрализации всего окружающего, у него не было ограничений в импровизационной фантазии. Неопределенное поведение – это «театр для себя».

Колебания. Неуверенность, нерешительность, метания от одного к другому, неспособность остановиться на чем-то определенном, наконец что-то выбрать.

Взаимоисключающие импульсы. Поведение, построенное на различных внутренних противоречиях и парадоксах, фактически «обнуляющих» его возможный смысл. Выраженное переживание противоположных чувств у людей встречается нередко, шизофреническая же амбивалентность, считает Р. Тёлле, имеет особый характер. Взаимоисключающие импульсы встречаются *одновременно*, и они равнозначны в проявлениях: человек одновременно и плачет, и смеется. «Оба чувства читаются на его лице. Он переживает сразу страх и радость. Больная шизофренией может называть себя в одной фразе и проституткой, и святой. Поведение изменяется трудно описуемым образом, больной шизофренией одновременно и любит человека, и презирает его. В бреде тоже могут господствовать несоединимые идеи» (67).

Иногда говорят о «неразрешимом смысловом противоречии», разрешение которого невозможно произвести ни путем синтеза, ни путем выбора из альтернатив, ни путем переинтерпретации проблемы при помощи «интерпрета-

тивной семантики». Сказанное относится по сути ко всему тому, что я называю неопределенным поведением. Здесь надо провести различие между противоречием и контрастом, использующимся, как правило, для усиления смысловой составляющей, подчеркивания некой сложности и особенности предмета.

Лингвисты выделяют такое нормальное в языковой практике явление как «иллокутивное самоубийство», представляющее собой самоотрицание высказывания, самоопровержение, применяющееся с целью нейтрализации сообщаемой информации — «но это я только что придумал», «но этого не было», «но это неправда» и т.п. Примеры самоуничтожаемой информации — в текстах Хармса, Беккета, Олега Гастелло («профашистский» «Последний антисемит» с отказом от фашизма в заключительных сценах). Игорь Терентьев заканчивает одно из своих стихотворений словами «всё из пальца высосал», элиминируя и без того неясный смысл.

Особенно интересен более сложный рисунок самоопровержения, примененного тем же Терентьевым в его показаниях по следственному делу 1931 г., где ему инкриминировались «сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством» (66). В начале своих показаний он говорит, что был завербован французской контрразведкой, в дальнейшем без каких-либо пояснений называет завербовавшую его контрразведку английской. Затем, вспоминая про те свои показания, где он в действительности говорил про французскую контрразведку, сообщает, что в них он ошибочно говорил об английской контрразведке вместо французской. И, наконец, далее снова называет английскую! Не стану придавать этому случаю однозначный статус хорошо продуманной интеллектуальной игры, привзванной нейтрализовать самый тяжкий пункт обвинения, — возможно, измученный допросами человек непроизвольно

путался в им же самим придуманных версиях. Хотя достаточная четкость и подробность, непротиворечивость всех остальных откровений и выдумок позволяют считать, что он сохранял достаточный контроль за повествованием. Несмаловажно и то, что при вынесении приговора этот «расстрельный» пункт обвинения был снят.

Важнейшими декоммуникативными свойствами обладает противоречие между двумя уровнями сообщения, двумя типами предписаний, или так называемое *двойное послание* (*double-bind*). Вторичное предписание, существующее на более абстрактном уровне и обычно передающееся невербальными средствами, вступает в конфликт с первичным. Самое простое — это несоответствие интонации, мимической составляющей высказывания содержанию передаваемой информации или, скажем, действий сопровождающих их словам. Если, например, в отношениях матери с ребенком в ее первичном предписании звучит запрет, то во вторичном, если его выразить словами, звучит что-то типа: «не считай это наказанием», «не подчиняйся моим запретам». Или производится некая команда, но она одновременно отрицается на метауровне (мать — дочери: «Уходи отсюда, дрянь!», при этом своим телом закрывает возможный выход).

Основными характеристиками ДП-ситуации, как их определяет Бейтсон, являются следующие:

- 1) индивид включен в очень тесные отношения с другим человеком, поэтому чувствует, что для него жизненно важно точно определить, какого рода сообщения ему передаются, чтобы реагировать правильно;
- 2) индивид находится в ситуации, когда этот значимый для него человек передает ему одновременно два разноуровневых сообщения, одно из которых отрицает другое;
- 3) в то же время он не имеет возможности высказываться по поводу получаемых им сообщений, чтобы уточнить,

на какое из них реагировать, то есть он не может делать метакоммуникативные утверждения (9).

Принципы поведения, обнаруженные Сирлзом, во многом базируются на условной формуле «двойного послания». Жертва этой ситуации оказывается в замешательстве, начинает сомневаться в достоверности самоопределения, пытаться в самооценках, смешивать метафорическое с буквальным, для нее «безопаснее не только соскочить на метафорический уровень сообщений, но еще лучше – сделать скачок и самому превратиться в кого-то другого или сделать другой скачок и утверждать, что сам он находится совсем в другом месте» (9). Если человек проводит долгое время «в оковах» «двойного послания», его метакоммуникативная система разрушается, он начинает защищать себя способами, которые обозначаются как параноидный (постоянная забота о скрытых смыслах), гебефенический (все принимается буквально и вызывает осмейние) и кататонический (замкнутость и безучастность).

Несовместимые противоположные импульсы – и в том, чтобы, как писали про одного современного художника, одновременно находиться «и в майнстриме, и в искейпе» – и включаться в адаптивные формы поведения, и постоянно отрицать эту свою включенность. Эта сложная позиция не связана с колебаниями и проблемой выбора, она последовательна как утверждение или как отрицание, в ней и поиск пути преобразования общества, и отвержение общества как такового. Но в ней может быть также и усилие адаптивного включения в действительность на некоем другом уровне, попытка формирования целостной дезадаптивной позиции, возвышающейся над прочими своей красотой с присущей последней репрессивной силой.

Несовпадающие сигналы. Они не совсем перечеркивают, но «снижают» содержательную составляющую и в целом «остраняют» реплику. Можно интересоваться стоимостью

товара, лежа в магазине на полу. Можно в судебном заседании попытаться спеть текст приговора в виде арии. Юмористический эффект – на размытых краях неопределенности, но и на границах страха. Эффект симптома и стигмы приходит, когда несовпадение неоригинально или не настолько оригинально, чтобы можно было запутаться в объяснениях.

Спутанность. В ходе коммуникации один из партнеров может начать смешивать «в одну кучу» различные вопросы, разные темы и подтемы, что производит запутывающий, дезориентирующий эффект. Вместо того, чтобы соблюдать некоторую логическую последовательность в переходе от одного к другому, он одномоментно и недифференцированно сплетает в один узел, «выпаливает» все разом.

Здесь присутствует заметный момент неразличения – и качественного, и иерархического. По Блейлеру, смешение понятий характерно, в частности, для эпилептической симптоматики. «Не только обороты речи, но и все эпилептическое мышление имеют в себе нечто неясное, неопределенное; границы понятий и идей расплываются, вместо частичных понятий фигурируют общие. Больной путает два различных ареста. Добротель в виде бережливости больной обозначает словами: «когда так хорошо поступают». Белка «это теперь заяц или кошка или лисица». Даже в математике 16+16 «это приблизительно от 32 до 34»» (82).

Искажение дат и переделка истории как варианты намеренной спутанности применяются в качестве средств идеологического воздействия, но могут и должны использоваться в оборонительной активности.

При шизофренических контаминациях понятия теряют свои четкие очертания и отграничения от других понятий. Это распространяется и на окружающих людей: их особенности сливаются, перемешиваются, что приводит к неузнаванию или ошибочному узнаванию. В экстремальных слу-

чаях шизофрений речь становится совершенно непонятной, когда произносятся не связанные между собой слова («словесная окрошка»).

Не знаю точных примеров, но думаю, что есть такие, когда происходит совмещение многих «я», когда разные люди демонстрируют совершенно одинаковые различительные признаки — имя, другие данные. Конечно же — многочисленные комедии с близнецами. Государственная идентификационная машина, правда, всегда находится на шаг впереди.

Сдвиг на постороннее. Здесь прежде всего можно говорить о несоответствии реакции теме, предмету коммуникативной ситуации. Это то, что можно назвать «репликой не-впад» или ответом «не по существу», акцентом на побочном и неосновном, отвлечением на постороннее. В таком поведении просматриваются элементы уклонения, хотя более точно смысловая составляющая, подобно другим случаям, определяется метакомпонентой. В некоторых ситуациях, предполагающих, скажем, условно-ритуализированное взаимодействие, не затрагивающее откровенных, «деликатных» или брутальных тем, таким сдвигом может служить прямолинейное, «лобовое» поведение, «правдаматка»; в других — буквальный ответ на косвенный вопрос, содержащий завуалированную просьбу (вопрос: «попить ничего нет?» — ответ: «есть!» без соответствующего предложения стакана воды, чашки чая и т.п.); в третьих — высказывание соображений, никак не относящихся к предмету разговора. Некто Флоран, обвиняемый в судебном заседании, вместо признания пространно рассказывает судьям о своей почти неземной любви к Маргарите (69).

У Лэйнга приводится описание ситуации (диалога матери с сыном), в которой звучит типичное неподтверждение указанного рода, называемое «соскальзывающим ответом». Пятилетний мальчик бежит к матери, держа в руках жирно-

го земляного червя: «Мама, смотри, какой у меня огромный жирный червяк». Мать: «Ты измазался, а ну, иди и немедленно приведи себя в порядок». Ответ звучит невпопад и подчеркивает побочные аспекты ситуации, он обладает фрустрирующим воздействием. Безразличие матери «спровоцировало как минимум временное замешательство, тревогу и чувство вины у мальчика». Кроме того, полагает Лэйнг, если ответ матери выражает общий стиль ее отношения к нему и поскольку в тех рамках, в которых она его воспринимает, обсуждаются только вопросы грязного-чистого, плохого-хорошего и чистый приравнивается к хорошему, а грязный — к плохому, ему долго придется мучиться над головоломкой грязного-чистого-плохого-хорошего или, возможно, идентифицировать себя в дальнейшем в основном через эти уравнения (42).

«Сдвиговая» реакция может характеризоваться неадекватным уровнем абстракций: там, где речь идет, к примеру, о вполне простых бытовых вещах, применяются иносказания, метафоры, символические действия. Наоборот, излишняя конкретизация, педантизм и буквализм, сосредоточенность на предметных значениях и элементах — там, где коммуникация ведется исключительно в символико-метафорическом плане.

В ответе «ни к селу, ни к городу» есть эффект сбивки сценарного замысла, применяемого в иерархической модели общения. Владимир Леви полагает удачной любую неадекватную, нелепую реакцию в ситуации, когда к человеку пристают на улице с явно провокационным вопросом или просьбой с тем, чтобы развязать конфликт (37).

Психотерапевт Милтон Эриксон рассказывает такой случай из своей практики: «Однажды в ветреный день 1923 года автор шел на семинар по гипнозу в Висконсинском университете и лицом к лицу столкнулся с мужчиной, огибающим угол здания. Это произошло в тот момент, ко-

гда автор боролся с очередным порывом ветра. Пока мужчина набирал воздух в легкие, чтобы сказать что-то, автор демонстративно внимательно взглянул на часы и вежливо, как будто его спрашивали о времени, сказал: «Сейчас точно десять минут третьего», — хотя стрелка часов приближалась к 16.00, и спокойно пошел дальше. Пройдя полквартала, он оглянулся и увидел, что мужчина еще стоит и смотрит на него в явном замешательстве и недоумении» (79).

Сюда следует также отнести рассеянность, рассредоточенность внимания, постоянное отвлечение на возникающие посторонние перемены и перемещения (так называемое полевое поведение). По критериям обычного общения, в этом присутствует элемент невежливости, хотя рассеянность, по большей части, простительна, пусть она и сильно затрудняет коммуникацию. Прощается как симптом.

Ненормативное количество. Объем необходимой и достаточной информации в диалогических репликах имеет приблизительные границы («максима количества»). Пониманию препятствует излишняя лаконичность, недоговоренность. Известен эксперимент Авраама Моля по разрушению понятности сообщения: произвольное выбрасывание все большего количества знаков делает сообщение все более непонятным, доходя до предельной точки, при которой средний реципиент уже не в состоянии реконструировать первоначальные формы (46). Незавершенные тексты создают у реципиента беспокойство и напряженную интенцию к завершению конструкций. Шперунг мышления при шизофрении — это внезапный обрыв мыслей, речь может прерваться на середине фразы.

Возможно «затапливание» информацией, что бывает при повышенной «болтливости», когда слушающий начинает терять способности к вычленению существенных составляющих. Элементы повышенной говорливости встречаются у людей с истерическими симптомами. Так называ-

емый «истерический щебет» нарастает в состояниях эмоционального напряжения (32). В нем, как мне кажется, явно присутствует интенция к защите от суггестивной монологичности. Словоизвержение при логопрее все больше переходит к полной бессвязности речи и в этом смысле близко к гиперкинезу, представляющему собой безостановочный, но и беспорядочный поток движений.

Герой Достоевского доказывает эффективность многословия, используемого наряду с сумбурностью изложения: «Ну, я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно по-бездарному, то есть много, много, много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоняты — все три выгоды разом! Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах?» (23).

Надо учитывать, что словоизвержение и любая другая безостановочная активность как доминирование в аудио- и визуальном пространстве могут иметь вытесняющий, иерархический эффект. Формальное (и изолированное) использование этой и ряда других техник неопределенности вообще не исключает противоположных последствий.

Странное ощущение должна производить реплика, обладающая излишней информативностью за счет избыточного характера метакомпоненты: например, «я здороваюсь: здравствуйте!»

Неопределенный симптом. Я не смогу присесть, потому что со мной что-то произошло. Не понимаю что. Болит ли что-нибудь, не осознаю, пока не приду в себя. Не могу больше говорить.

Произвольная композиция. Перетасованные слова и действия, измененная их последовательность, ненормативный

порядок создают почти такой же эффект непонимания, что и трансляция непонятных знаков. Слова или, скажем, событийный ряд могут строиться в обратной последовательности, как это сделано, например, футуристами в «Мирсконца».

Необычные физические параметры. Для адекватного восприятия импульса важны громкость, тональность, темп и другие частотные характеристики диалогической реплики. Слишком быстрый или, наоборот, слишком растянутый, замедленный ответ — препятствия к интерпретации содержащегося в нем смысла. Чрезесчур тихий, неинтенсивный, едва различимый сигнал и чреват потерями передаваемых содержаний, и обнаруживает аутичные намерения, отсутствие установки на контакт и понимание.

Перепады. Для любой коммуникации существуют некие нормативы временных промежутков между реакциями, а также динамики сменяемости тех или иных параметров диалога. В нарушение названных стандартов — отстающая или опережающая реакция, создающая сбивки в ритмическом рисунке диалога. Встречаются внезапные смены тем, неожиданное «перескакивание» с предмета на предмет (что-то подобное бывает при «полевом поведении», когда человек постоянно переключается на все новое, попадающее в его поле зрения). С внезапностью связана непредсказуемость, невозможность предугадать дальнейшие поступки. Строго говоря, непредсказуемость основывается на целом ряде факторов и явлений, среди них и направленность неожиданной активности. Есть люди и страны, к которым относятся с подозрением и по причине непрогнозируемости, неясности обнаруживаемых ими тенденций поведения, и из-за спонтанности (эмоциональности, непродуманности, скоропелости) принимаемых ими решений.

К такой зыбкой поведенческой материи можно отнести резкие перепады настроений, смену возбуждения столь же

интенсивным торможением, внезапные и необъяснимые эмоциональные, мимические реакции. «В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм; и я скоро понял, что происходил он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь — крайнее нервное возбуждение ... Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости — тому крутому, неторопливому и гулкому произношению — тем тяжеловесным, уравновешенным, безкоризненно модулированным горланным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности» (56).

Использование клише. Поскольку в «нормальной жизни», в обыденных поступках и речи постоянно смешиваются штампы и созворяющее новое, применение одних клише приводит к неразличимости, к смешению с фоном, исчезновению. Это тоже молчание, в том смысле, в каком молчит всякая «избыточная» структура, — ноль информативности. Может, это вариант мимикии, а может, и активная сопротивленческая практика, подобная безынициативному послушанию. Нарочитое использование стереотипных моделей в искусстве все же, как правило, преследует цели их переосмысливания. Кроме настоящего «графомана», в последовательно декоммуникативном варианте их, кажется, не использовал никто.

Представим себе телевизор, по которому постоянно, по всем программам, идут одни лишь знакомые рекламные ролики.

Повторы. Я имею в виду навязчивые повторы, постепенно вызывающие и попытки прекратить общение, и размытие и отторжение передаваемых содержаний. Таким результатом, например, чревата назидательность, характеризующая поведение старых людей. Повторяемость явно

связана с избыточностью, как и многословие или использование клише. Склонность к тавтологии иногда перемешивается с чрезмерной обстоятельностью и почти убивает содержание: «Милый Вы господин директор, шлю Вам сердечный привет и желаю Вам от всего сердца доброго здоровья и Божьего благословения, свидетельствую Вам свое почтение и благодарю Вас от всего сердца и желаю всего этого и господину директору и господину пастору и желаю всего этого и всем Вашим родным и прошу Вас от всего сердца, чтобы Вы послали в Rüti письмо, которое я Вам дал на той неделе, и родителям в Rüti я тоже шлю поклон от всего сердца, я также свидетельствую им свое почтение и благодарю их от всего сердца и желаю им также от всего сердца доброго здоровья и Божьего благословения и здоровому и больному и т.п.» (82).

В некоторых вещах Хармса (например, «Вываливающиеся старухи») этот прием не только уничтожает оригинальность и, соответственно, информационную и смысловую ценность единичного события, но и порождает комический эффект. Повторы и рифмы имеют определенный экстатический эффект, к достижению которого стремились участники хлыстовских богослужений; он же присущ поэтической форме.

Стереотипии — движения или речевая активность, имеющие ритмический характер. Это, например, стереотипная ходьба взад-вперед, многократное отстегивание и застегивание кнопок на платье, повторение отдельных бессмысленных слов или фраз, периодическое постукивание по одному и тому же месту кровати и т.п.

А вот пример разговора с эпилептической больной: — «Как вас зовут?» — «Марта Глокнер». — «Сколько вам лет?» — «Марта Глокнер». — «Где мы находимся?» — «Марта Глокнер». — «Сколько вам лет?» — «22 года». — «Где мы находимся?» — «22 года». — «Чем вы занимаетесь?» — «22 го-

да». — «Кто я такой?» — «Двоюродный брат Георг». — «Кто этот господин?» — «Двоюродный брат Георг» (82).

Интересно, что некоторые слова, обозначающие хаос, построены по принципу рифмы-полуповтора. «Хаос/Хуньдунь ... (в древнекитайской книге “Люйши чуньцю” — П.Г.) символизирует первоначальную нерасчлененность. Он не случайно помещен в центре — это указание на его бескачественность — к нему неприложимы такие определения, как “верх” или “низ”, “правое” или “левое”, “южное” или “северное”. Само слово хуньдунь, относящееся к лексическому классу так называемых полуповторов, по своему фонетическому облику и семантической нагрузке очень близко к словам типа “трали-вали”» (68). Или, добавлю, «Шалтай-Болтай», «шурум-бурум», «hurly-burly» (сумятица, переполох — англ.).

Нерелевантность адресата. Она — в обращении к кому-то помимо действительного партнера, к другому, возможно, к отсутствующему или несуществующему или к вовсе неадекватному человеческой коммуникации, но одушевляемому игровой стихией вымышленного диалога. Революционер Камо, симулируя сумасшествие на судебном заседании, не обращал ни на кого внимания и беседовал то ли с кошкой, сидевшей на подоконнике, то ли с птицей за окном.

В каком-то смысле этот элемент представляется коммуникативным отражением молчащей или спутанной самоидентификации (см. выше).

Гиперэтикет. Я уже говорил о приеме «больше, чем знак» (своеборной слашавой учтивости, «переборе» в соблюдении нормативов) — что он, не провоцируя последствий, которые влечет за собой неисполнение правил, вызывает подозрения в недостаточной искренности, что, в общем-то, неплохо для создания зоны неразличимости. В крайних проявлениях он, конечно, смыкается с пародией, начинает походить на издевку.

Один мой бывший приятель мог разговаривать, простиная перед человеком довольно долгое время на коленях и вызывая у того чувство большой неловкости. Он же начал отряхивать слегка испачканное пальто женщины с заметно большим усердием и назойливостью, чем требовали соответствующие нормы, но, несмотря на пограничность своего поведения, все время оставался как бы в рамках «вежливой помощи». Он же, кстати, буквально по Сирлзу, любил подмечать или подозревать в другом какие-то неприятные для человека стороны его личности, с тем чтобы вызвать у него замешательство.

Эхолалия или эхопраксия. Поршинев рассматривал эхолалическую реакцию в качестве важнейшей технику контргестии. Это ответ тождеством, точным повторением, слепком с предшествующей реакции партнера (58). По поверьям, чтобы избавиться от лешего, человек должен сам на какое-то время уподобиться лешему и все делать наоборот и навыворот по сравнению с собственной природой (65). Возможно, в этом ответе присутствует смысл символического возвращения сигнала отправителю, то есть оно представляет собой сообщение о непринятии посланного адресатом. Тогда это что-то по мотиву подобное обереговому «возвращению опасности» — бросанию, например, вслед носителю зла какого-либо предмета, с которым символически возвращалось зло (38). Очевидна и близость эхолалической реакции к подражанию техникам власти, «зеркальному» отражению военных или других наступательных действий, что любопытно как прием в своем буквальном воплощении, но абсолютно неоригинально в общем смысле, поскольку это и есть обычная практика войны или революции.

Но если эхолалию, филогенетически восходящую к не-произвольной имитации, попытаться рассмотреть вне непосредственно агрессивных форм взаимодействия, будет ясно, что ее ближайшие «родственники» — пародия, подделка, но

также и плагиат: в делах, в искусствах, в теоретическом мышлении. Роль плагиата в размыании констант достаточно понятна. Прочность константы основана на ее повторяющемся использовании, но на использовании, пропущенном через личностно-смысловую сферу, таком, что она каждый раз приобретает как бы индивидуальное звучание, — роль откровенного, бесхитростного плагиата заключена в безличном репродуцировании константы и ее превращении в опозоренный манипуляцией, бездушно взломанный, изнасилованный знак. Вот рассуждение Кручёных, производившего обратную операцию «очищения» слова: «Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захвачанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена» (36).

Наступление и защита

Многие из этих элементарных техник, что порой видно уже из их представления, не «приписаны» однозначно к анти- или внеиерархической деятельности. Голые техники полимотивированы. В разрозненном виде или в сочетаниях они могут применяться и применяются стратегиями, утверждающими иерархическое соотношение, — так же, примерно, как бегство иногда служит средством заманивания в ловушку, а демонстрация симптома — способом выиграть время для подготовки наступления. Или вообще — как противленческая методология и фразеология используются специально в целях замены одного враждебного людям режима другим, более приспособленным к современным технологиям власти.

Часть указанных инструментов явно просто «родом» из таких стратегий, которые я здесь для простоты дальнейших объяснений назову *наступательными*. Военные и другие агрессивные техники (например, разбой, ограбление, налет) используют внезапность в качестве одного из главных так-

тических средств нападения, уменьшающих потенциальные потери. Уязвимость понижается также скрытностью действий, разного рода маскировкой, своеобразным тактическим молчанием — проведением ночных операций (ср. преступление «под покровом ночи»), применением боевой техники, не фиксируемой средствами оборонительного слежения, маскировочной дезинформацией. Современная война, по мнению Кайуа, «удаляется от поединка, сближаясь с охотой или убийством из-за угла. На ней стараются внезапно напасть на слабейшего числом и вооружением противника и уничтожить его наверняка, сами оставаясь по возможности невидимыми и неуязвимыми. Военные действия все чаще ведутся ночью, а также путем взаимного истребления мирного населения, своим трудом обеспечивающего снабжение бойцов ... Теперь нападают внезапно, стремясь получить решающий перевес над ошеломленным противником» (28). Тактика молчания видна в наступательной стратегии социальных элит — зашторенные окна в машинах, закрытые приемы и судебные процессы, «без комментариев!». Власть при необходимости выступает в роли декоммуникатора, блокирующего механизмы обратной связи: она, например, игнорирует любые попытки диалога, запутывает, заматывает, затягивает, замалчивает, берет на вооружение демагогическое многословие и догматизм, смешивает все в одну кучу, дробит и фрагментирует, вовремя использует отвлекающие маневры, окружает свои действия ореолом таинственности, парализует неизвестностью. Кен Нэбб приводит взятый им из газет гротескный пример сочетания противоположных импульсов: «Южноафриканская компания продаёт бронетранспортер для подавления демонстраций, с него через усилитель раздается диско-музыка, успокаивающая нервы будущих бунтарей. На этом бронетранспортере, уже купленном одной африканской страной, которую компания не называет, установлена также водяная пушка и слезоточивый

газ» (50). Техника «двойного послания» впервые открыта и наиболее известна как техника манипулятивная, имеющая свойство обезоруживать, эффективно управлять, сохраняя за собой роль неуловимого источника ежесекундного доминирования. С помощью неопределенности охраняется определенность. Всегдаший расчет власти — на непредсказуемость, бесконечное варьирование способов, направлений, ритма наступления. Сумасшедшие разведчики, неуправляемые торпеды, неаналитические операции. «Инновация должна быть по своей сути хаотична... — утверждает С. Переслегин. — Непредсказуемость результата означает невозможность для противника оказать сколько-нибудь серьезное и своевременное противодействие» (54). Особенно цены в военных операциях «стратегии чуда», подчиняющиеся «логике невозможного» — дерзнувший совершивший излишне рискованную атаку должен быть отчасти безумен, и это безумие воздействует на обороняющегося (55). Чрезвычайно удобное средство для манипулирования — многозначность: всегда сохраняется возможность переинтерпретировать указание и, следовательно, поддерживать в оппоненте неуверенность и страх ожидания. Иван Грозный, безграничный властитель, постоянно реализовал противоположные модели поведения, что создавало эффекты непредсказуемых взрывов (41). Наступающему вояке выгодно дезориентировать, сбивать с толку, подобным же образом ведет себя опытный следователь, допрашивая подозреваемого. Специалистам по гипнотерапии хорошо знаком «метод путаницы» М. Эриксона: делается ряд противоположных, разнонаправленных, взаимоисключающих, различающихся по форме внушений, требующих от испытуемого постоянного переключения внимания. «Если, например, испытуемому делают внушение поднять руку, его выразительно просят поднять правую руку и не двигать левой. Когда врач, повторяя внушение, просит поднять левую руку и не шевелить правой, испытуемый

приходит к мысли, что врач не следит за своими словами. Когда испытуемый окончательно убеждается в том, что врач что-то путает, он, сам того не подозревая, начинает *сотрудничать с ним* (курсив мой. – П.Г.). В этот момент можно и вовсе запутать пациента, требуя, чтобы он, не двигая руками, в то же время одну поднял, а другой давил вниз» (79). У пациента в состоянии замещательства, объясняет дальнейший механизм внушения сам автор, возникает «не-преодолимая, все возрастающая потребность дать какой-то ответ, реакцию, чтобы снять растущее напряжение. Поэтому он с готовностью хватается за первое четко выраженное, понятное сообщение, за предложенную ему связь». Вызывающее, экстравагантное, эксцентричное, скандальное, эпатирующее поведение, агрессивно утверждающее себя новаторство – неопределенность «на службе» у атакующей активности. Это такая же элитарная поза, как и дендилизм, главная черта которого, по соображению д'Оревильи, «стоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически» (22).

Но я думаю, что техники неопределенности изначально все же связаны с *защитными* импульсами (с оборонительной активностью или, так скажем, защитной мотивационной составляющей), аналогичными функции молчаний или эхолалической контрсуггестии. Однако они используются и присваиваются культурой нападения.

Элемент защиты всегда или почти всегда присутствует в наступательных операциях; вообще, природа любого поступка в иерархической матрице амбивалентна, в нем часто присутствуют обе эти тенденции, выраженные обычно в неравной степени. Эриксоновский метод – и авторитарный, и сбивающий авторитарный сценарий; в иерархической системе связей все заключено в обладании стратегической инициативой. В поведении людей подобная

диалектика («слабость–властность») проявляется довольно отчетливо и последовательно: они нередко пользуются одним и тем же способом, например, молчанием, и как средством заграждения от авторитарных попыток, и, одновременно, как попыткой «перехватить инициативу». Поведение атакующего – всегда в том числе предупреждение возможной перемены ролей, но и обороняющийся может предпринять контратаку. Граница между защитой и нападением есть, но чрезвычайно зыбкая. Контратака в рамках обороны – все же отбитие атаки, но, строго говоря, не переход в наступление, хотя понятно, что она может в него развиться. Ульрика Майнхоф писала о жестокой и неоправданной англо-американской бомбардировке Дрездена: «Если требуется доказательство, что оборона превращается в агрессию, – Дрезден такое доказательство» (43). Примерно так революция преобразуется в контрреволюцию. Контратакующая критика или разоружение другого класса или народа-господина не должна означать смены доминанты. Этим антисионизм, как любой антифашизм, отличен от антисемитизма, но способен в него развиться и, не желая замечать различие, напуганные или намеренные легко производят подмену. То же самое – с «оборонительным национализмом» и «терроризмом». Феминизм, изначально оборонительное движение слабых, образует, замечает Блэк, род фашизма с его привычными атрибутами (10). Не хочется, конечно, злоупотреблять расширительным толкованием известного исторического понятия, но точные analogии есть и, кроме того, следует, мне кажется, осознавать действительный защитный генезис авторитарно-тоталитарно-фашистских форм.

Сопротивляющееся искусство и искусство сопротивления становятся модными и превращаются в знаки, в музеиные сокровища – «авангард», «андеграунд», «альтернатива», «другое искусство», «ситуационизм». Контркультура беско-

нечно присваивается корпоративной и массовой культурой. Ее художники – на службе у брэндов, выборов, дизайна. Присвоение чаще всего производится под видом и с лексикой оборонительных интенций, укрепление этих интенций в виде субкультуры тоже есть присвоение. Во всех подобных переменах явно присутствует какой-то механизм смеси мотива (и смысла) через влачащиеся рядом побочный эффект и дополнительный смысл. Близко к этому – переход из принципиально нового в привычное, затверженное через повтор. Повторяемость – убийство оригинальности, в повторяемости техники – и отсутствие творческой фантазии, и наступательный, утвердительный мотив, этим «самоубийством» чревата сама элементарная техника повтора (см. выше).

В метаматрице, образуемой в пространстве отношений к иерархизму, зарождается непрямое столкновение линий, его утверждающих, с линиями, ему противополагаемыми, его развенчивающими, наступательной неопределенности с защитной неопределенностью. Утверждающие практики ничем не презируют, во имя иерархизма поглощается всё – всё, по крайней мере, линейное и замкнутое, хоть оно и направлено вовне. Нелинейное и бесконечное, если получается, дробится и распрямляется. Аиерархическое классифицируется и стигматизируется, присваивается. Становится техникой. «“Стратегию чуда” необходимо корректно оттранслировать на языки семантического и эмоционально-территориального контуров: иными словами, она должна быть представлена как сугубо аналитическая. Это требует четкой работы штабов, инициирующих аналитическую составляющую хаотической операции» (55).

Развенчивающие, защитные линии лишь *отчасти* сответствуют себя похожим, отражающим, образом. Это уже не иерархическое поле. Они свободнее, аристичнее, импровизационно-спонтаннее, в целом «бессознательнее», не так,

думают, ломают и выхолащивают, скорее, развивают характер вовлекаемых техник, изобретают. Любая неаналитическая операция в той мере аналитична, в какой имеется не интенция, но более или менее сформулированная задача.

Понятные области использования защитного неопределенного поведения – во всех случаях социальных связей, где очевидна твоя полезность вышестоящим инстанциям, где они зависят от тебя и таких, как ты, где их деятельность рассчитана на тебя, когда твоя реакция имеет значение. Оно очевидно и в ситуациях прямого авторитарно-иерархического воздействия – дидактического конструирования, команды, приказа, даже нападения. Субъективная сторона – ощущение, что на тебя давят, тебя используют, тобой манипулируют, нужен какой-либо твой потенциал; тыучаешься в деле вовлечения других в иерархию, в деле создания новых констант и т.п. Вообще, форма конкретной поведенческой активности, характер субъекта и области использования подобной ограниченной, первичной неопределенности во многом определяются конкретной иерархической коммуникацией (уровнем, спецификой, характером опосредования и т.п.). «Ты» – это может быть цепеллин.

Достаточно емкие «мешки сопротивления» – в действиях безумцев и пленников, в игровых практиках, в искусстве и радикальной анархической политике. Подчас эти «стратегии» настолько неразличимы между собой, что кажется, будто речь идет о линии защиты, объединенной общим замыслом. Поистине «литература, лубок и сумасшедший дом подают друг другу руки!» (36).

Прудон писал: «Приходилось ли тебе, читатель, присутствовать когда-нибудь при допросе обвиняемого? Приходилось ли тебе наблюдать его хитрость и уловки, увиливания, извороты и запутывание? Разбитый, уличенный во всех своих уловках, подобно дикому зверю, преследуемый безжалостным судьей, постоянно сбиваемый с позиции, он ут-

верждает что-нибудь, затем отрицает то же самое и противоречит себе. Он исчерпывает все приемы диалектики, он в тысячу раз изобретательнее и хитрее, чем тот, кто придумал 72 формы силлогизма» (60). Такой же пленник – безумец: с его кататоническим ступором, бессвязностью речей, копанием в мелочах и иносказательным красноречием, навязчивыми повторами и психозом спутанности. Аутизм шизофреника – в отсутствии расчета на слушателя: он может говорить и мало, и очень много, но не на тему, ставить перед собой невыполнимые задачи, действовать отстраненно и изолированно. Его поведение сродни эгоцентризму ребенка с его непонятным языком, молчанием, неспособностью ориентироваться на понимание, противоречивостью, лживостью, «нереалистичными» запросами. Пациент в сеансах психиатра или психотерапевта часто предпочитает молчать, и это наряду с различными симптомами психологической защиты, в которых обычно присутствуют элементы спутанности и иррациональности. Поведение юродивого и «дурaka» является «зрелище странное и чудное»; отчуждение от общеупотребимого, невразумительность – форма общественного протesta. По народной вере, отсутствие здравого смысла, «наобумность» поведения, спонтанность «дурaka» – необходимые условия достижения счастья (65). Спонтанность близка к раскрепощенности пьяного, но от пьянства страдают сердце и печень, а *оба они должны быть чистыми у бойца*.

Есть события и дни неопределенности, это не только праздники, карнавалы, маскарады, но и «день дурака», когда, в общем-то, может быть не совсем ясно, шутят с тобой или нет. Искусство авангарда обнаруживает принципиальную установку на непонимание, выраженную через молчание, заумь и различные другие асемантические техники, на синтетизм и эклектизм, на принципы случайности (ошибки) и плагиата, на спонтанность воспроизведения (напри-

мер, «автоматическое письмо»). Важнейшую футуристическую программу – идею «смещения языков на заумной основе» – имевшую очевидный смысл разработки новых общеупотребимых систем коммуникативного кодирования, можно, при желании, понимать и как идею единения человеческого рода на других, асемантических принципах. В политических зрелищно-игровых стратегиях RTS («Захвата улиц») и им подобных присутствует противоречивая режиссированная спонтанность, неясность для окружающих, театральные способы экспроприации пространства и очевидная бесполезность. Флэш-моб, ставший, по всей вероятности, модным развлечением интеллектуальной молодежи, базируется, однако, на важнейших для будущих живых поведенческих направлениях параметрах – непонятности, театральности, коллективности, анонимности, внезапности. В политической практике современных сопротивленческих движений при всей их двойственности, к которой можно и нужно относиться двояко, применяются путаные линии: децентрализация, запутанная разрозненность, распыленность.

Задачная неопределенность, обладающая рядом недостатков обычного сопротивления (отказа), пытается, конечно, не давать никакогонятного ответа (и тем самым вообше ответа), не предлагать искомому реципиенту связь (в эриксоновской интерпретации), она не укрепляет оппонента (в смысле распространенного эффекта любого противодействия), но способна сама *выродиться*, перерasti в вариант наступательного движения. Ощутимыми признаками такой возможности являются: 1) использование неразвитых, традиционных поведенческих форм, что привлекает стигматизирующие потоки; 2) эффект давления на оппонента, содержащийся в применении коллективных форм неопределенности; 3) манифестация производимой активности с характерной для такой манифестации субкультурой – с ее языком, тенденциями к эстетизации структурных элемен-

тов, избирательности, авторитарности, а также с этикой противопоставления и проч.; 4) возникновение специфических культов и верований, означающее и формирование авторитетов, и групповое расслоение; ———— 5) будучи включенной в качестве средства в защитную деятельность, неопределенность может смениться на другие, чисто сопротивленческие средства, если мотив, что нередко случается, станет диктовать, «подверстывать под себя» цели; 6) если в ходе практики самостоятельно мотивировать начинает достигаемый эффект замешательства, фрустрации «объекта», то она может перейти в стандартный вариант индивидуалистического наступления — в достижение такого личного удовольствия, которое является функцией от неудовольствия другого.

Поэтому лучше всего, необходимо, чтобы неопределенное поведение сразу было настроено в качестве *самоцели, абсолютной активности ради активности*, имеющей самодостаточный мотив изобретательного идеизвержения.

Будучи лишь средством в защитной деятельности, оно, в то же время, может и должно перерастать в самоцель (по механизму «сдвига мотива на цель») — а это и есть нужный результат. А будучи даже изначально организовано в виде самоцели, оно объективно работает на защиту, так как разрушает константы — частицы, обладающие наступательным потенциалом. Далее по принципу того же сдвига оно будет вычленять из себя элементы, постоянно образуя самостоятельные деятельности, поэтому так важна многослойность, метауровни.

Метанеопределенность

Некоторые немагистральные направления в культуре и в политике определили такой ориентир с большей или меньшей ясностью, выдвинув в качестве программного принцип противоречия — а это путь к неограниченной ме-

танеопределенности. Вот что, дурачась, говорили в новогоднем интервью поэт Зданевич и художник Ларионов: «— Вы футуристы? — Да, мы футуристы. — Вы отрицаете футуризм? — Да, мы отрицаем футуризм, пусть он исчезнет с лица земли! — Но вы противоречите сами себе? — Наша задача противоречить самим себе. — Вы шарлатаны? — Да, мы шарлатаны. — Вы бездарны? — Да, мы бездарны» (49). А вот Тристан Тцара в своем «Манифесте дада 1918»: «Я пишу этот манифест, чтобы показать, что можно одновременно производить противоположные действия, на одном свежем дыхании; я против действий; за непрерывное противоречие, также за утверждение; я ни за, ни против и не даю объяснений, так как я ненавижу здравый смысл ... Порядок = беспорядок, я = не я, утверждение = отрижение; то есть высшие излучения абсолютного искусства» (4). Тот же пробный для политических инициатив путь полвека спустя формулировал трикстер-Хоффман: «Ясность — вовсе не наша цель. Наша цель вот какая: сбить всех с толку. Беспорядок и кутерьма, сумятица и сумбур разят всех цивилов наповал. Нас не понимают — и это замечательно: понимая нас, они бы нашли способ нас контролировать ... У нас нет программы. Программа сделала бы наше движение бесплодным. Мы — воплощенное противоречие. Я не могу этого объяснить. Я и сам этого не понимаю» (78). Его замысел — «театральная герилья», почти то же самое по своей незрелищной, но игровой сути, что и «тайный театр хаотов» Хаким-Бея.

Игра связана и с вероятностной неопределенностью, и с метанеопределенностью, как, например, в случаях использования джокера, и путающего карты, и дополняющего их. Простые примеры метанеопределенности: производование различных реакций на одинаковые стимулы и, одновременно, одинаковых — на разные; чередование ритма и аритмии; ситуация выбора между смыслом и бессмыс-

лицей. Это написал не я, а Он. Но и я иногда бываю Им, хотя вообще мое настоящее «я» – это то Он, то я попаременно. Момент, который я считаю нужным подчеркнуть в связи с этим, – отмечаемое в шизофрении одновременное присутствие, сосуществование упорядоченного и «разорванного» мышления, быстрая и непредсказуемая смена одного другим (67). Может, такие заключения представляют собой всего-навсего чистейшую стигматизацию многоуровневого неопределенного поведения, смирительную рубашку для творческих дезадаптационных попыток? Или, говоря несколько иначе, клинические формы шизофрении, аутизма, истерии и некоторых других «нервных болезней» и «психических расстройств» и есть наиболее адекватные и полновесные примеры «природной» необходимости в таком поведении и результаты его естественного производства (примерно как педерастию можно интерпретировать в качестве органической формы протеста типовым моделям отношений)? Мы можем в какой-то мере отнести наши рассуждения и к искусству, сославшись на мнение Адорно, который отметил в нем по сути аналогичное свойство – что произведениям искусства присуща двойственность, дихотомия определенного и неопределенного (2). Только я бы сказал так: искусство – это и есть то, что содержит в себе подобную дихотомию.

Ближайшие подступы к метанеопределенности возможны через комбинационную составляющую. С ее помощью секрет этой активности раскрывается нам как бесконечное движение сочетаний разных элементов и сочетаний таких сочетаний, но не механических, а живых, дышащих комбинаций, реализующих личностные смыслы, свободные от «одежд» значений. Это всегда, каждый раз – принципиально новые варианты поведенческой активности, к которым не прирастает знак, сторонний смысл. Это не просто беспрестанная смена каких-либо фрагментарных фабульных

последовательностей, но и непериодичность такой смены. Бейтсон говорил, что его интерес – избыточность в системах, состоящих из избыточных подсистем (8). Я же думаю, что наш интерес, наоборот – в неопределенности, содержащейся в последовательности неопределенных поступков, состоящей из неопределенных действий, операций и т.д. «Богатство» и сложность такой активности – в множественности степеней ее свободы и в неограниченной способности осуществлять переходы между различными состояниями и режимами функционирования. В этих ее особенностях прежде всего и заключена перманентная новизна продуцируемого и соответствующий всякой новизне максимум информации, «затапливание» которой само по себе создает эффект «наводнения» серной кислотой (или что там интенсивней), разъедающей все, что стоит на ее пути.

Введенский применял в своей «коммуникативной» поэтической практике множество разных элементов нарушения смысла, но, не ограничиваясь эффектом неправдоподобия, игнорировал признание самой идеи правдоподобности/неправдоподобности. В этом, я думаю, прежде всего, и состоит его идея посягательства на исходные обобщения. «Бессмыслица Введенского, – замечает Друскин, – в отличие от абсурда Ионеско, не негативное понятие, а имеет положительное содержание (курсив мой. – П.Г.), но оно не может быть адекватно сказано на языке, предполагающем подобосущное соответствие текста контексту, знака означаемому» (24).

Неопределенное, будущее

Линии и формы внезнакового поведения транзитивны и универсальны, они доступны широкому и неограниченному применению: продуцентом такой активности может выступать любой социальный персонаж, как одиничный, так и коллективный; они способны реализовываться в любых областях человеческого присутствия. Их транзитивность, в частности, заключена в переходах от высказываний, осуществляемых в виде художественного приема, к разнообразным фабулам бытового, публичного, социально-политического поведения и наоборот; от сольных партий к сложной коллективной полифонии; от праздного индивида, простого жителя и его семьи к любым другим действующим социальным организмам: космическому экипажу, школьному классу, шагающему экскаватору, банде коррупционеров, народу, кавалеристу, создателям системных моделей, издательству, мобильным диффузным группам, папе римскому. Эту активность следует рассматривать максимально развернуто: как собственно неопределенное межличностное поведение, неопределенную (в том числе трудовую) деятельность, непонятный продукт деятельности, неясные функции, бесполезные вещи и товар, неясных людей, невнятную информацию и визуальные образы, неразборчивый текст, бесформенность и неоформленность и т.д. Она пребывает в разных состояниях, физических параметрах и экспрессивных вариациях, разворачивается в разнокалиберных семиотических полях, вовлекает в свою стихию и поедает наличные языковые средства, в зависимости от кодовой модальности конкретной коммуникации. Можно сказать «не сотрудничать» (со следствием, властями и т.п.), что будет неверно и чего будет недостаточно. Дело в последовательном непризнании самой дилеммы сотрудничества/несотрудничества. Можно сказать «вести себя непонятно», и это по сути будет пра-

вильно — но надо смотреть пространнее, поскольку речь идет о любых социальных фактах, производимых во всех сферах жизни и самыми разнообразными средствами.

Неопределенное поведение — это изначально ответ на любое иерархическое послание. Догматические, дидактические, командные, любые константные конфигурации могут содержаться в каждом фрагменте социальной жизни, в связи с чем возникает действительная необходимость в умении читать, «вычислять», вычленять эти послания — понимать истинные смыслы (мотивы) любых социальных инициатив. Как считал Маркузе, эффективность существующего общественного порядка притупляет способность индивида распознавать репрессивные силы (45). Но чрезмерный поиск отсутствующего скрытого смысла — та же самая «параноидальная» подозрительность, склонность к разоблачению врагов, что свойственна стигматизирующему, маркирующему иерархическим системам. Прежде всего, я говорю о раскрытии смыслов в событиях и поступках, а также в вещной, предметной реальности. Непримиримость, постоянная конфликтность — такие же признаки нахождения в пределах иерархического поля, как и терпимость; многое в подобных качествах — от неаналитического, поверхностного обобщения, свойственно-го интеллектуально ослабленным, внутренне безразличным или «фашизOIDНЫМ» натурам. Самые разные элементы коммуникативного движения в обществе, конечно, не имеют никакого наступательного характера, принимая лишь направления подчинения, бегства, уклонения и т.д. Там, где лучше вовремя остановиться вычисляющему, — именно в этом месте и проходит граница между защитным и наступательным поиском, но понимания нужной «нулевой» точки можно достичь только тщательной аналитической работой, критическим сопоставительным разбором. Возможны и ментальные тренировочные практики «расширенного смотрения», «смещения», размывающие понятийные рубежи и обнаруживаю-

щие прежде неочевидные стороны предметов и явлений, че- му способствуют и пространственные перемещения, и само- углубленность, и переживания, и практика, в которой само- выявляется иерархичность.

Клеймление в терминах симптоматики, эстетики и т.п., настигающее зазевавшегося декоммуникатора, предотвращается техниками ускользания от стигмы, своеобразными «антивирусами», приобретаемыми на ранних витках декоди- рования. Таковыми, в частности, в разных случаях могут быть: неодиночный, возможно, массовый характер производимой активности, несмотря на индивидуальные смыслы каждой «постановки»; какая-либо связь с весельем, «несерьезным» настроем, растормаживающей беспечностью; отсутствие признаков заготовленности и направленного умысла; обращенность исключительно на (в) себя; отсутствие известных признаков агрессивности, доминирования, вытеснения, навязывания, воспрепятствования, обороны – или их «погашение»,нейтрализация в процессе самоотрицания, чередование с «позитивными» реакциями; несоответствие характера, последовательности действий известным призна- кам и симптомам. Но в отличие от кодирующих наплывов, все время меняющих «правила игры», потенциал таких тех- ник чрезвычайно ограничен. Отсюда, в частности, обяза-тельность *перманентного* неопределенного поведения.

Речь об «ответе» достаточно условна, поскольку в общес-тве, представляющем собой непрерывную коммуникацию – всё так или иначе и «вопрос», и одновременно «от-вет». В конце концов, важно просто *само по себе* продуцирование внезнаковой активности в иерархизиро-ванном пространстве, на разных его, в том числе и ключе-вых, участках. Ее безадресное воспроизведение во всех со-циальных зонах, особенно, если получается, в зонах наибольшей концентрации иерархических головоломок и константных процедур. Наконец, превращение в естествен-

ный, как будто другого и не может быть, поток взаимодей-ствующих с миром беспредметных инициатив. Если защи-тная неопределенность – это все же локальная и точечная техника (как сверло), то в своем автономном бытовании она перестает быть инструментом, то есть оружием или орудием, это и не структура, и не доктрина изменения, а само изменение и преобразование.

Внезнаковая активность постепенно отходит от первона-чальной защитной функции, выполняющей задачу отрица-ния иерархической реальности и характеризующейся при-страсностью, реактивностью, особой валентностью, и переходит к «нулевой точке», становясь на которую, она начи-нает существовать как *невалентное естество*. Это сначала «ничего не говорящее», но заметное, а потом уже и неразли-чимое, растворяющееся во всем и растворяющее все в себе.

Она – театр, импровизационный лабиринт, многомер-ные непредсказуемые флуктуации субъективного волеизъя-вления и игрового начала, выращивание себя как *процесса искусства*. Театр как внеэстетическое преображение, как преэстетическое искусство, как трансформация вне форми-зации, театрализация жизни (25). Игра, где основное возна-граждение, если оно вообще требуется, – сами производи-мые действия (10). Это и то важное, на чем должна быть осно-вана современная деколонизирующая политика, – «ди-намика сердца», то есть чувственность и интуиция (30). Та-кий театр неreprезентируется как «театр», его замысел не манифестируется как доктрина или учение, которые спо-собны мигом нарастить субкультурные и культовые атрибу-ты. И здесь нет ничего общего со специальной таинствен-ностью подготовки к атаке. Ему свойственна скрытность молчавшей до поры, но внезапно пукнувшей чайки. Одна-ко же для театра существенна не только и не столько спон-тансность, способная выдать поток стереотипов (см. также о спонтанности агрессии в работах К. Лоренца), сколько изо-

бретательность, интеллектуальная деятельность. Внезеститизм подразумевает и внеметафоризм и внесимволизм, отсутствие стиля. Театрализация жизни – не зашифрованное послание к дешифровщикам и, тем более, не элитарный кивок в сторону неспособных расшифровать его «в силу своей безграмотности»; она может лишь до поры выглядеть таковыми, чтобы побуждать привычных или смелых к неудачной расшифровке, а тем самым еще более запутать и сохранить ощущение тайны до конца. И после конца. В наименьшей степени она эксперимент, проектная методика, проба. Но, как эксперимент, рискованна, даже жертвенна, и в этом опять существует опасность возникновения специфических абстракций, формирующих особую мораль, в конце концов, любую мораль.

Будущее поведение людей представляется освобождающимся от знаковости при посредстве коллективности (и взаимности). Действенность коллективных форм здесь, я думаю, не того рода, что обыкновенно при сопротивленческом отрицании, когда массовость является источником силы давления; хотя в нашей ситуации они оперируют масштабностью, распространенностью тенденции, которая образует определенный заслон на пути заглушающего личностные смыслы потока значений. И в подобном развитии – еще возможный минус для преобразования, увлекающего за собой, получается, через механизм влияния доминанты. Участники, субъекты внеиерархической активности – одиночки (как всегда юродивые, «дураки», умалишенные), но у них существует множество оснований бывать и быть вместе. Возможны и необходимы временные союзы, когда, например, контекстом поведенческой инициативы выступает сложная, многофакторная, обширная иерархическая система или связь, – характер оборонительной или автономной активности, самого субъекта декоммуникации подразумевает некоторое соответствие уровню и масштабу взаимодействия.

Временные союзы – не тайные общества с их секретами, эталонами, регламентами, структурой, шифром, авторитетом, церемониями; превращаясь в таковые, они становятся ячейками, боевыми единицами сопротивленческого отрицания, прообразом будущих спецбатальонов наступательной инициативы. Фрагментарные, одиночные действия могут складываться в сотворчество и сочувствование, закладывая основы нового психического и коммуникативного сосуществования. В такой коллективности зарождается перспективная коммуникативность, не требующая использования никаких опосредующих символов, в которой начинают преобладать отношения помощи, единения, сочувствия, сопреживания, а также различные, ныне совсемrudиментарные, экстрасенсорные, волновые сопряжения и т.п.

Таким образом, мыслимое движение преобразования происходит следующим образом: и через фрагментарные (индивидуальные и разовые) инициативы ~ временные союзы ~ совместное и взаимное чувствование; и через непонимание и ощущение недостоверности ~ избегание, разобщение ~ внутренний конфликт, распад ментальных иерархий ~ распад поведенческих иерархий; и через цепочки и сети окружающих коммуникаций. Адресат и адресант никак не фиксированы, они находятся в перманентной инверсии, во встречных дескоммуницирующих потоках, иерархический коммуникатор заражается от эпидемии обессмысливания, декоммуникатор испытывает эхолалические деструктурирующие импульсы. Заболевают, точнее, выздоравливают оба – и помогают остальным.

Путь к безвластному обществу, замечает О'Хара, лежит прежде всего через изменение самой личности (52). Но я уверен, что подобное изменение невозможно в символическом и знаковом мире, где репрессивность разворачивается из даже мельчайшей частицы окостеневшего смысла. Оно по-настоящему может происходить лишь в процессе внеи-

архического декоммуникативного контактирования, преобразующего символическое взаимодействие в непосредственные соприкосновения личностных смыслов и других субъективных субстанций, вместе с этим процессом. Возникает другой, *асемиотический мир*.

Стоит ли здесь говорить о какой-либо «позитивной программе»? Думаю, что цена таким программам лучше всего выражена в словах Уильяма Морриса: «Люди сражаются и проигрывают битву, и то, за что они сражались, наступает, несмотря на их поражение. Когда же оно потом оказывается не тем, на что они надеялись, приходят другие люди, чтобы сражаться за то же самое, но уже под другим именем» (цит. по 74). Или в чем-то типа этого – или в обратном, когда после предыдущего этапа для позитивности уже не хватает ни сил, ни, главное, понимания, что она уже свернута. Я о том, что не стоит загадывать. В едином процессе преобразования достаточно одной лишь «негативной» программы – защитного блокирования авторитарно-иерархических попыток, которое вырастает в автономное неопределенное поведение, или сразу самодостаточной внезнаковой активности, сметающей на своем пути даже костики значений. Новая реальность сформируется сама. «Негативная» программа – она же «позитивная», что естественным образом вытекает из природы неопределенного поведения как не-атаки, как разупорядочивателя. Если из отрицания путем «сдвига мотива на цель» (или, что то же самое – превращения средства в мотив) образуется новая социальная реальность, базирующаяся на средствах отказа, прежде всего на насилии, то есть противоположная задуманному реальность, то из внезнаковой активности и коммуникации возникает другая, внезнаковая реальность, всегда пребывавшая в потоках этой активности и не чуждая ей. Противопоставление защитным потокам неопределенности потоков наступательной неопределенности, исходящих от

власти, думаю, только ускорит наступление новой эры – все окончательно перестанут понимать друг друга в терминах современного им настоящего.

Возможно, если следовать мысли Евреинова, который считал, что «в эволюции человеческого духа развитие чувства театральности постоянно предшествует развитию эстетического чувства» (25), новая земная коммуникация должна представляться квинтэссенцией театральности, чудесным смешением бесполезного творчества и непобедоносной любви. Возможно, будущая человеческая психопопуляция приблизительно напоминает то, что, имея в виду прообраз анархического общества будущего, писали о раннем, неотчужденном от природы досимволическом рае с высокоразвитым интеллектом его обитателей, отношениями равноправия, добровольной и совместной деятельностью, отсутствием ролевой специализации, отсутствием чувства собственности, неохраняемыми границами и проч. (см., например, 26). Возможно, надо подробно исследовать весь путь образования ритуала, символа, знака, значения, выделения этих констант из материи внесемиотической, доцивилизационной жизни, зафиксировать этот процессуальный ряд, а потом прокрутить «киноленту» в обратном порядке.

Так, конечно, не выйдет. Может быть, чтобы приблизиться к осознанию и принятию *всего такого и ему подобного*, миру надо пройти через серию революций. Никакая революция, конечно, не изменит социальный мир в его иерархической предрасположенности – она будет поддерживать и заново строить пирамиды властей, искать в них себе опору, а значит, возвращать нас к размышлению и мечтам о других попытках, к попыткам преображения человечества средствами, мало поддающимися описанию. И, как могут полагать пессимисты, практически невозможными.

Литература

1. Адорно Т.В. Исследование авторитарной личности. М., 2001.
2. Адорно Т.В. Эстетическая теория. М., 2001.
3. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М., 2003.
4. Альманах дада. Под ред. Р. Хюльзенбеска (Берлин, 1920). М., 2000.
5. Аргайл М., Фернхэм А., Грэхем Дж.А. Правила // Межличностное общение. СПб., 2001.
6. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
7. Бахтин М.М. Эпос и роман. М., 2000.
8. Бейтсон Г. Некоторые особенности процесса обмена информацией между людьми // Концепция информации и биологические системы. М., 1966.
9. Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000.
10. Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. М., 2004.
11. Ванейгем Р. Революция повседневной жизни: Трактат об умении жить для молодых поколений. М., 2005.
12. Васильев Н.А. Воображаемая логика: Избранные труды. М., 1989.
13. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. М., 2000.
14. Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2-х т. Т. 2. М., 1993.

15. Вебер М. Типы господства // Зомбарт В. Социология. М., 2003.
16. Винер Н. Человек управляющий. СПб., 2001.
17. Глейк Дж. Хаос: Создание новой науки. СПб., 2001.
18. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
19. Делёз Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.
20. Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995.
21. Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990. СПб., 2004.
22. д'Оревиль Б. Дэндизм и Джордж Брэммелль. М., 1912.
23. Достоевский Ф.М. Бесы // Он же. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Т. 7. Л., 1990.
24. Друскин Я.С. Звезда бессмыслицы // «Сборище друзей, оставленных судьбою»: В 2-х т. Т. 1. <М.>, 1998.
25. Евреинов Н.Н. Демон театральности. М., 2002.
26. Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. М., 2005.
27. Зимняя И.А. Психологическая характеристика понимания речевого сообщения // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990.
28. Кайя Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
29. Карасик В.И. Семантика этикетного действия // Действие: лингвистические и логические модели. М., 1991.
30. Катсификас Дж. Ниспровержение политики: Европейские автономные социальные движения и деколонизация повседневности / Реферативный перевод. Волгоград, 2002.
31. Кейд Б., О'Хэнлон В.Х. Краткосрочная психотерапия: Интервенции, манипуляции, техники на основе эриксоновского гипноза и НЛП. М., 2001.
32. Кемпински А. Психопатология неврозов. Варшава, 1975.

33. Кибrik А.А. Молчание как коммуникативный акт // Действие: лингвистические и логические модели. М., 1991.
34. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление: Психологический очерк. М., 1977.
35. Крамер Дж., Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру. М., 2002.
36. Кручёных А.Е. Апокалипсис в русской литературе. М., 1923.
37. Леви В.Л. Искусство быть другим. М., 1980.
38. Левкиевская Е.Е. Славянский оберег: Семантика и структура. М., 2002.
39. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
40. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
41. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001.
42. Лэйнг Р.Д. «Я» и другие. М., 2002.
43. Майнхоф У. От протеста – к сопротивлению: Из литературного наследия городской партизанки. М., 2004.
44. Малевич К.С. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М., 2003.
45. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2003.
46. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
47. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика: Антология. Екатеринбург, 2001.
48. Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.
49. Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. М., 1992.
50. Нэбб К. Радость революции. М., 2003.
51. Нюттен Ж. Мотивация // Экспериментальная психология / Ред.-сост. П. Фресс, Ж. Пиаже. Вып. V. М., 1975.
52. О'Хара К. Философия панка: Больше, чем шум! М., 2003.
53. Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000.
54. Переслегин С.Б. Искусство стратегии // Манштейн Э. Утерянные победы. М., 2002.
55. Переслегин С.Б. Стратегия чуда: введение в теорию неаналитических операций // Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1999.
56. По Э.А. Падение дома Ашеров // По Э.А. Полное собрание рассказов. М., 1970.
57. Полетаев И.А. К определению понятия «информация» // Исследования по кибернетике. М., 1970.
58. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М., 1974.
59. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979.
60. Прудон П.Ж. Что такое собственность? М., 1998.
61. Радин П. Трикстер: Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Керенъи. СПб., 1999.
62. Ратмайр Р. Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры. М., 2003.
63. Рыбаков Р. Ненасильственная борьба за мир без насилия // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М., 1998.
64. Сельвини Палаццоли М. и др. Парадокс и контрпарадокс: Новая модель терапии семьи, вовлечённой в шизофреническое взаимодействие. М., 2002.
65. Синявский А.Д. Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М., 2001.
66. Следственное дело Игоря Терентьева (1931) // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 18. М.; СПб., 1995.
67. Тёлле Р. Психиатрия с элементами психотерапии. Мн., 1999.

68. Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал: Миф и эстетика в «Люйши чуньцю». М., 1990.
69. Тогоева О.И. В ожидании смерти: Молчание и речь преступников в зале суда // Человек в мире чувств. М., 2000.
70. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2003.
71. Уайлдер Т. Теофил Норт // Уайлдер Т. Мартовские иды. Теофил Норт. М., 1981.
72. Фоссе Ш. Ассирийская магия: Систематическое исследование магических текстов. СПб., 2001.
73. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. М., 2002.
74. Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
75. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2-х т. Т. 1. М., 1986.
76. Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен. СПб., 2000.
77. Хомский Н. Классовая война. М., 2003.
78. Хоффман Э. Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране полицейской демократии. М., 2003.
79. Эриксон М. Стратегия психотерапии: Избранные работы. СПб., 2002.
80. Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М., 1998.
81. Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли. СПб., 2002.
82. Bleuler E. Руководство по психиатрии. Берлин, 1920.
83. Leonhard K. Атипические психозы и учение Клейста об эндогенных психозах // Клиническая психиатрия / Под ред. Г. Груле и др. М., 1967.
84. Wyrsch J. Клиника шизофрении // Клиническая психиатрия / Под ред. Г. Груле и др. М., 1967.

Оглавление

От издателя	3
Глава 1	11
Иерархии	14
Радость контрреволюции	26
Взаимность	30
Глава 2	37
Отрицание	37
Прагматика декоммуникации	50
Прагматика декоммуникации (продолжение)	55
Глава 3	62
Константные смысловые конфигурации	63
Контролеры определенности	72
О порядке вещей	77
Знак неопределенности	83
Глава 4	91
Глава 5	97
Практики	97
Наступление и защита	117
Метанеопределенность	126
Неопределенное, будущее	129
Литература	138

Павел Горгулов
КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ БЕЗВЛАСТИЯ

Редактор и корректор
B.V. Ахметьева

Верстка
A.Z. Бернштейн

Распространение:
м-н «ГИЛЕЯ»
Москва, Нахимовский пр., 51/21
тел. 332-47-28, e-mail: new@gileia.ru
<http://www.gileia.ru>

м-н «ФАЛАНСТЕР»
Москва, М. Гнездниковский пер., 12/27 (вход в арке)
тел. 504-47-95, e-mail: falanster@mail.ru

ООО «БЕРРОУНЗ»,
тел. (095) 104-68-36, e-mail: berrounz@list.ru

Отпечатано в ФГУП «Издательство “Известия”
Управления делами президента РФ»
127994, ГСП-4, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5
Формат 70×100/32. Гарнитура Times ET
Заказ 5369 Тираж 500 экз.

ISBN 5-87987-035-9

A standard linear barcode representing the ISBN number 5-87987-035-9.

9 785879 870350